

И. С. Тургенев

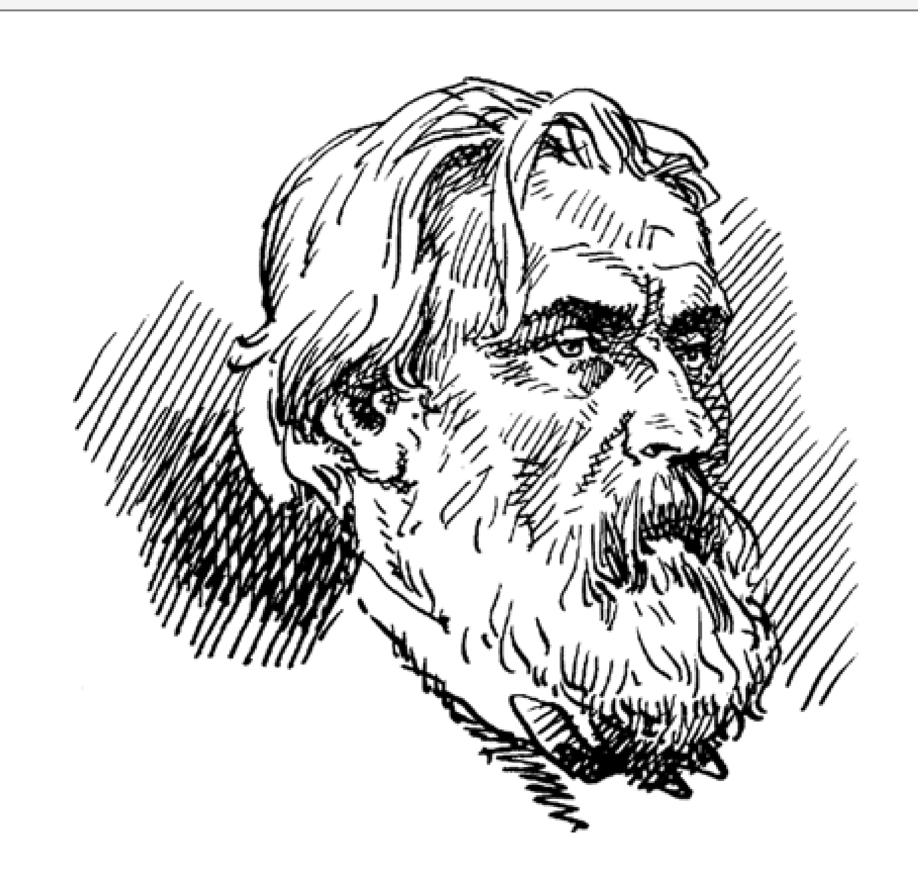
НАКАНУНЕ

Annotation

Роман замечательного русского писателя издается с приложением: статьей Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?».

И. С. Тургенев
Накануне

* * *



1818–1883

Живые души
(О романе И. С. Тургенева «Накануне»)

Третий по счету роман Тургенева «Накануне» был напечатан в январе — феврале 1860 года в журнале «Русский вестник». Название оказалось глубоко символичным — ведь появился роман за год до Великой Реформы, как называли отмену крепостного права в России (1861). Это было время гласности, дарованной обществу сверху. Устно и в печати открыто обсуждалось все, касающееся грядущего освобождения. Славянофилы, западники, демократы и другие партии и группы сталкивались в яростных спорах…

Одновременно с «Накануне», в январе 1860 года, Тургенев напечатал статью «Гамлет и Дон-Кихот» (в журнале «Современник»). Эта глубокая философская работа заключала в себе идеи, которые Тургенев использовал в романе. В том же январе он прочитал «Гамлета и ДонКихота» в Петербурге на чтениях Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. «Что было, когда вступил на эстраду Тургенев, — писала в дневнике мемуаристка Штакеншнейдер, — и описать нельзя. Уста, руки, ноги гремели во славу его». Тургенев, как вспоминает современник, «даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время излюбленный беллетрист». Журналист Н. И. Сазонов писал, что «критика редко поднималась на такую высоту; прекрасные замечания Гёте о Гамлете и великолепная страница Байрона о Дон-Кихоте не только сплавлены воедино в этом замечательном наброске, но еще освещены внимательным изучением и лихорадочной энергией, основными свойствами современной эпохи». Как видим, не только роман, но и статья Тургенева (нисколько не устаревшая и теперь) своевременна и современна.

Тургенев дал свое понимание двух нравственно-психологических типов людей (Гамлеты и Дон-Кихоты), на которые, как он считал, извечно делится все человечество и черты которых в большей или меньшей степени присущи каждой отдельной личности. Главное различие этих двух типов — в направленности их стремлений. У Гамлета они обращены на свое «я», у Дон-Кихота — на идеал,

находящийся вне личности. Цель Дон-Кихота — деятельное добро, борьба со злом, «водворение истины, справедливости на земле». «Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи», и это придает несокрушимость его «нравственному составу» (он, по мнению Тургенева, самое нравственное существо в мире). Гамлетовскому типу человеческой натуры присущи безверие, скептицизм, эгоизм; Гамлет не в состоянии по-настоящему полюбить женщину (оттого, что может любить лишь себя), но в отличие от целомудренного Дон-Кихота не лишен чувственности… Почти неспособный к действию (беспрестанный самоанализ уничтожает его волю), он никого не может за собой увлечь, у него нет целей, и к тому же он всей душой презирает толпу… У него есть свои хорошие качества: начитанность, понимание художественного (тонкий вкус), а главное — способность четко разграничивать Добро и Зло. Не из последних человеческих достоинств и его способность ясно видеть свои пороки. Он страдает от окружающего зла (в этом они сходятся с Дон-Кихотом, но Гамлет страдает сильнее).

Отдавая предпочтение Дон-Кихоту, Тургенев подчеркивает, что идея, которая движет им, иллюзорна. Его ослепляет энтузиазм. Не понимая действительности, он наносит вред себе и другим. Но Гамлет, который без сомнения не бросился бы в атаку на мельницу, не напал бы и на великана… А ведь мельница для Дон-Кихота — злобный и могучий великан…

Такими самоотверженными, но безумными Дон-Кихотами — применительно к современности — Тургенев считал революционеров. Сам замысел его статьи явился результатом размышлений над революционными событиями во Франции в 1848 году, очевидцем которых он был. Тургенев проводит сравнение между революционерами и Дон-Кихотом, который, будучи предан своему идеалу, «не верит свидетельству глаз своих» в том, что появившаяся перед ним крестьянка — его Дульцинея, и «считает ее превращенной злым волшебником». «Мы сами на своем веку, — пишет далее Тургенев, — в наших странствованиях, видали людей, умиравших за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, — мы чуть было не сказали: волшебников — злых случайностей и личностей.

Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать».

В русской публицистике образ Дон-Кихота считался воплощением отрыва от текущей жизни и до Тургенева. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен также называл деятелей Французской революции 1848 года Дон-Кихотами («Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ ДонКихота революции!»). Это письмо (от 1 июня 1851 года), напечатанное в Лондоне в 1855 году, Тургенев, вероятно, прочел в августе 1856 года, когда посетил за границей Герцена.

Дон-Кихотами в какой-то степени казались Тургеневу и русские революционеры-демократы. Так, в черновом варианте статьи Дон-Кихот прямо назван «демократом». Давно замечено сходство слов Тургенева о Дон-Кихоте («…он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание») с отзывом писателя о Чернышевском: «Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда… но он понимает потребности действительной современной жизни — и в нем это… самый корень его существования» (письмо к А. В. Дружинину от 30 октября ст. ст. 1856 года). С тургеневской оценкой революционности как донкихотства сами демократы согласиться, конечно, не могли. Например, Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?», первоначально называвшейся «Новая повесть г. Тургенева», посвященной роману «Накануне», утверждает, что «смешными ДонКихотами», безумцами, сражающимися с призраками, являются те, которые «хотят прогнать горе ближних», не понимая, что «оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители».

Тургенев полагал, что обществу необходимы деятели, соединяющие в себе лучшие черты как Дон-Кихота, так и Гамлета, то есть волю и мысль. «Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, — пишет он, — но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более… И вот с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой — полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и

подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят».

Человека, обладающего одновременно волей и мыслью, Тургенев называет «*сознательно*-героической натурой». Он так и пишет И. С. Аксакову в ноябре 1859 года, имея в виду «Накануне»: «В основание моей повести положена мысль о необходимости *сознательно*-героических натур (стало быть — тут речь не о народе) — для того, чтобы дело подвинулось вперед». «Дело» в романе не двигается. Особенно русское. Оно есть где-то там, за морем… за горами… в Болгарии например, — и туда стремится Инсаров — Дон-Кихот. Сознательно-героических натур нет в романе потому, что Тургенев не видел их в России. Он видел здесь всевозможных Гамлетов — по преимуществу среди дворянских интеллигентов, вошедших в литературу под именем «лишних людей». В «Накануне» это Шубин, обладающий всей полнотой гамлетизма.

Нужда в сознательно-героических людях все явственнее ощущалась в русском обществе, и особенно по окончании Крымской войны 1853–1856 годов (Николай I умер, не дождавшись ее конца, в 1855-м), завершившей «мрачное семилетие», как называли годы 1848–1855-е. Возникли надежды на крупные преобразования во главе с вопросом вопросов — освобождением крепостных крестьян. «Дело» началось, и в него включились все слои общества, которые, однако, действовали не единым фронтом, — было много разномыслия, недоверия и даже вражды… В этой обстановке и писал Тургенев «Накануне», роман, задуманный несколько лет назад. «Я собирался писать „Рудина“ (в 1855 году. Это первый роман Тургенева. — *В. А.*), — вспоминал писатель в предисловии к собранию своих романов в издании 1880 года, — но та задача, которую я потом постарался выполнить в „Накануне“, изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться». Некоторые черты Елены Тургенев придал Наталье в «Рудине» и героиням повестей «Переписка», «Фауст», «Ася», созданных параллельно с «Накануне». И если Елена как бы вырастала, постепенно проясняясь, то героя, которому она могла бы «предаться», Тургенев не видел вовсе.

Помог ему случай. Некто В. Каратеев, сосед Тургенева по Спасскому, человек, с которым он был в дружеских отношениях, отправился на войну — во время Крымской кампании — и оставил Тургеневу рукопись своей автобиографической повести. В ней, по словам Тургенева, было «беглыми штрихами» намечено то, что составило потом содержание «Накануне». «Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто, — писал Тургенев. — Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью, но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне, хотя неумело… Одна только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты». Так в основу романа Тургенева легло документальное начало.

Он написал «Рудина», потом «Дворянское гнездо», поставившие его в ряд крупнейших русских писателей (Достоевский отметил в «Дневнике писателя» за 1859 год, что «Дворянское гнездо» есть «произведение вечное и принадлежит всемирной литературе»). Затем вернулся к записям Каратеева. П. В. Анненков вспоминал, как зимою 1858–1859 годов «Тургенев не раз читал… по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести…» и как из этих «слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его „Накануне“…». План романа обдумывался в январе 1859 года в Спасском. Писать его Тургенев начал летом того же года за границей. Крайние даты создания «Накануне» указаны им самим на титуле черновой рукописи: «Начата в Виши во вт. 28/15 июня 1859 г., кончена в Спасском в воскресенье 25 окт./6 ноября 1859 г.».

Кроме рукописи Каратеева у Тургенева был и еще «материал», — это великие исторические события его времени, также подсказывавшие ему мысль о героическом характере… Летом 1853 года началась война между Россией и Турцией, поставившая Россию перед новыми врагами — Англией и Францией, тогдашними союзниками турок… С особенной силой разгорелось национально-освободительное движение у балканских славян. В Италии в те же годы громко заявила о себе

истинно героическая личность — Гарибальди… Конечно, эти события, за которыми Тургенев следил с интересом, укрепили патриотические и героические настроения романа. Шубин в «Накануне» говорит о будущем Елены и Инсарова: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» В июне 1859 года Тургенев пишет графине Ламберт: «Я нахожусь теперь в том полувзволнованном, полугрустном настроении, которое всегда находит на меня перед работой (здесь имеется в виду работа именно над „Накануне“. — *В. А.*); но если бы я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию — подышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом. — Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмотрел бы на это — как это делается?»

Но конечно, российские-то дела тревожили Тургенева куда больше итальянских… Какой вид примут ожидаемые реформы? Он обсуждает «все стороны этого жизненного вопроса» с крупнейшими деятелями, готовившими Великую Реформу, — с князем В. А. Черкасским, с председателем Комитета по крестьянскому делу Я. И. Ростовцевым, с Л. Н. Толстым… «Дело» росло… Росла и тревога: есть ли надежные плечи, на которые оно ляжет? И вновь перед Тургеневым (и не только перед ним) вставал вопрос о героической личности, о такой личности, у которой чувство гражданского долга перечеркнуло бы собственные выгоды… Нужны не Гамлеты, не Дон-Кихоты, а сознательно-героические личности. И их нужно много… Тургенев пишет Н. А. Некрасову об «ответственности, которая поневоле падает на каждого». И на писателя в первую очередь.

Что бы ни писал Тургенев, он всегда, по свойству своего таланта, вскрывает что-нибудь значительное в современной жизни… В 1858 году в журнале «Атеней» появилась статья Чернышевского «Русский человек на rendezvous», написанная по поводу повести Тургенева «Ася». Даже в такой лирической, далекой от социальных проблем повести Чернышевский находит нечто, — он считает нерешительное поведение героя повести с любимой им девушкой *общественно*

типичным. Это тип дворянского либерала, нерешительного во всем. Это его качество становится бедствием в особенно трудные для народа времена, — например, в канун крестьянской реформы. Чернышевский полагал, что либералы-дворяне пропустят ту благоприятную минуту, когда еще можно будет что-то изменить к лучшему… На смену этим либералам должны прийти люди другого склада, а именно — решительные разночинцы-демократы… «Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, — писал Чернышевский, — которою определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно». Тургенев не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Нерешительности в своем сословии он видел много, но она еще не говорила о полной «непригодности»…

«Накануне» было и ответом Чернышевскому. Но для того чтобы вести дальнейший разговор о пригодности или непригодности дворян к общему делу, нужно рассмотреть героев романа Тургенева. Как и во многих его произведениях, в «Накануне» не зависящая от времени художественность сопрягается со злободневностью. Вечным и сегодняшним живут герои романа. Вот, например, упоминавшийся нами скульптор Шубин. Уже в его внешнем облике можно заметить черты Гамлета — чувственность и эгоизм. Он любуется собой и весь мир воспринимает как среду для своего существования. Природа ему видится не столько в духовном плане, сколько в объемном (недаром он скульптор). Самый прекрасный пейзаж для него расплывчат, его «не ухватишь». «Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны», — говорит он Берсеневу о пейзаже. Ему же он предлагает: «Займи свое место в пространстве, будь телом…»

С одной стороны, его совет не лишен смысла. Ведь он предлагает созерцателю Берсеневу войти в жизнь, а не стоять перед ней, как перед картиной, которая хотя и прекрасна, но находится вне созерцающей личности… «Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом…» С другой стороны, сам он, Павел Шубин, считая себя центром мироздания, не входит в мир, а остается за его пределами, поскольку весь устремлен на себя. Так и любовь, и счастье он понимает и принимает лишь как свое… «Я хочу любить для себя; я хочу быть

номером первым», — говорит он очень откровенно. Его девиз: «Мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!»

Однако отсутствие прочного стержня в душе Шубина (именно из-за того, что он ни во что не верит) приводит к тому, что не он завоевывает жизнь, а сама эта жизнь, оборачивающаяся к нему своей плотской, бездуховной стороной, грозит поработить его (слишком зыбка его безрелигиозная «духовность»), убить в нем и душу и талант. Она то и дело затягивает его в свои сети, каждый его высокий порыв превращая в фарс. Шубин любит Елену Стахову, но лишь настолько, насколько может любить его «гамлетовская» — эгоцентрическая — натура. Даже страдая, он умиляется своими страданиями, не в силах забыть о себе. Понимая это, он еще больше мучается: «Неужели же я всё с собой вожусь, когда рядом живет такая душа?» Ловушки, которые расставляет материальный мир перед Шубиным, подстерегают его и в любви. Не высохли еще его слезы по Елене, а он уже бежит за хорошенькой горничной… Любовные страдания переходят в пошлость… И все же есть в нем непосредственность и правдивость. Душа его жива. Отвергнутый Еленой, Шубин отдается «вечному, чистому искусству», он уезжает в Рим и становится «одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей»…

Шубин — не конченый человек. Тургенев оставляет ему выход в «пригодность». Этот выход — через гамлетовскую способность видеть вещи реально, в самоанализе, самовоспитании, самоиронии. Именно Шубин дает беспристрастную оценку себе самому и своим современникам. «Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие, — говорит он Увару Ивановичу. — Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие!»

Упомянутый Увар Иванович, по фамилии Стахов, связан с Шубиным какими-то странными узами. Это фигура для Тургенева несколько необычная: соединение характера (отчасти сатирического) с символом (или воплощенной идеей). Неподвижность его,

неспособность ни на какое действие, сонность — всё это состояния, грозящие охватить русского человека. Корни этого героя — в романе «Дворянское гнездо», и почти буквально в земле (как и полагается быть корням). Это сцена возвращения Лаврецкого на родину, когда он «в дремотном онемении» смотрит из тарантаса на родные места. Тишина и спокойная неподвижность целительно подействовали на его усталую душу. В этой устойчивой, словно бы никогда не меняющейся деревенской жизни, он, как ему показалось, обрел непреходящую правду жизни: «И вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика». «И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, — думает Лаврецкий, — кто входит в ее круг, — покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!.. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь: здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам». И при этом (о Лаврецком): «никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины»…

Вот в этот спокойный мир врывается товарищ Лаврецкого по университету Михалевич и называет его байбаком, лентяем. «И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? — кричал он под конец спора, в 4 часа утра, — у нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит!» Беспокойство, кипящее в словах Михалевича, переходит в «Накануне»… Это беспокойство самого Тургенева, часто высказывавшееся им в его переписке. «Усыпляющий элемент русской жизни» в те же предреформенные годы вызвал к жизни такой характерный образ, как Обломов в одноименном романе И. А. Гончарова. Это тот же неподвижный «идол», как и Увар Иванович. И та же неподвижность грозила Шубину, — не случайно между «черноземной силой» и молодым художником была какая-то странная связь и «бранчивая откровенность».

Шубин называет Увара Ивановича «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «представителем хорового начала», «почвой». Можно предположить, что в этом герое отразились отчасти представления Тургенева о народе, о его скованных духовных

силах. Об этом свидетельствуют такие национальные атрибуты, как кружка с квасом, всегда стоящая возле постели Увара Ивановича, а также его народное — общинное — представление о нравственности. Он, например, утверждает, что младшие должны безоговорочно подчиняться старшим… Шубин именует его еще и «стихийным человеком», — а это также народная черта. С другой стороны, в Уваре Ивановиче имеются «следы настоящей стаховской крови», то есть старого русского дворянства. Этот образ в какой-то степени символизирует те исторические формы, в которые вылилась дореформенная Россия, то есть крестьянскую общину с ее общинным сознанием («хоровым началом») и старое дворянское землевладение. Накануне реформы обострились споры именно о крестьянской общине: их вели славянофилы с западниками на страницах журналов «Русская беседа» и «Сельское благоустройство». Суть спора в общих чертах сводилась к противопоставлению «личность — община» и вытекающему из него другому противопоставлению: «Запад — Россия»…

Поземельную общину, крестьянский «мир», славянофилы (И. и П. Киреевские, Хомяков, Самарин, Кошелев, К. и И. Аксаковы) считали «основой общественного здания» России. Положив идею общины в основу своего учения, они считали себя первооткрывателями, связывая постановку проблемы об общине с возникновением славянофильства. «Славянское племя, и по преимуществу русское, отличается от всех других особенностью своего *общинного* быта», — писал в 1857 году в статье «Современный вопрос» А. С. Хомяков. Еще в 1839 году И. В. Киреевский говорил об общественном устройстве Древней Руси так: «Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник *личных* прав на Западе, была у нас принадлежность общества». К. С. Аксаков видел в общинном начале «душу русского народа» и был среди славянофилов самым горячим проповедником общины.

В условиях предстоящей отмены крепостного права славянофилы, бывшие поборниками скорейшей его ликвидации, боролись за освобождение крестьян с землей, основываясь на исконном праве крестьян на землю. В сохранении в России общинного землевладения при существовании и частной — помещичьей — собственности славянофилы видели гарантию ликвидации вражды между дворянским

и крестьянским сословиями, основу для объединения нации. Они утверждали, что крепость общины не только оградит страну от революции («резни») и от «пролетарства», но и обеспечит «нравственную связь» двух сословий, на основе помещичьей опеки над крестьянским «миром» (Хомяков).

Общинное начало, как свойственное России, славянофилы последовательно противопоставляли началу личностному, западному. Это они утверждали и в литературной критике, выступая за подчинение личности «хоровому началу». «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад, — писал Хомяков. — Она до такой степени не способна быть началом или источником художества, что всякое ее проявление уже расстраивает или искажает художественное произведение».

Проблема «личность — община» (так же, как «Запад — Россия»), споры о которой начались задолго до реформы, не оставила равнодушным и Тургенева. Его спор со славянофилами, особенно в дореформенное время, нередко носил дружеский характер. Именно дружеские, весьма теплые отношения связывали его с некоторыми из них, например с семьей Аксаковых (отцом и двумя сыновьями). Тургенев спорит чаще всего с Константином Сергеевичем Аксаковым. В октябре 1852 года он пишет Сергею Тимофеевичу (отцу К. С.): «К сему письму приложено от меня несколько слов К-у С-чу насчет его замечаний, которые я большею частью признаю справедливыми, хотя в коренном нашем воззрении на русскую жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходимся. Он это, я думаю, знает; но чего он не знает, может быть, вполне, это — та горячая симпатия, которую я чувствую к его благородной и искренней натуре».

Еще в 1853 году в письме к К. С. Аксакову Тургенев говорит, что не может согласиться с его идеализацией общинного быта и с противопоставлением России, искони крепкой духом «общинности», Западу с его индивидуализмом. «Мы обращаемся с Западом, — пишет Тургенев, — как Васька Буслаев с мертвой головой, — подбрасываем его ногой — а сами… Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору, да и сломил себе на прыжке шею. Прочтите, пожалуйста, ответ ему мертвой головы». Тургенев, в отличие от Аксакова, видит два источника «оживления» России — «западный» и «восточный». «Мы стоим у двух источников, — пишет он, — мертвой и живой воды; живая для нас

запечатана семью печатями — а мертвой мы не хотим; но убитый богатырь воскрес от вспрыскивания обеими водами». Под живой водой, пользуясь терминологией самих славянофилов, Тургенев подразумевает народную жизнь с ее культурой, нравственностью, общинным сознанием.

Шубин, говоря о том, что Инсаров связан со своим народом общей целью — освобождением родины, — посмеивается над славянофилами (тут, без сомнения, Тургенев в его речь вкладывает свои мысли): «Он с своею землею связан — не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!» Поднятая славянофилами проблема утраты образованным обществом народности существовала в реальности. Задача объединения нации на каждом шагу обнаруживала свою необыкновенную сложность… Тургенев считал, что и народ («простой») нужно учить, хотя отчасти приближать к интеллигентской культуре, пробуждать в каждом члене общины личность. Сам он во время подготовки реформы деятельно организовывает «Общество для распространения грамотности и первоначального образования». «Предприятие это касается всей России», — пишет он П. В. Анненкову из Вентнора в августе 1860 года. В этом вопросе у него был взгляд, противоположный славянофильскому.

Что касается общины, то и тут у Тургенева был свой — личный и живой — опыт. Так, не дожидаясь манифестов, он предпринял «крестьянскую реформу» в собственном имении, переведя своих крестьян с барщины на оброк и вольнонаемный труд, причем свое хозяйство он стал называть на западный образец «фермой». Эти нововведения он осуществил уже к началу 1860 года. «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставив, разумеется, старое количество земли), — пишет он И. С. Аксакову в октябре 1859 года, — переселил их (с их согласия) — и с нынешней зимы они все поступают на оброк, по 3 рубля серебром с десятины… Крестьяне, перед разлукой с „господами“ — становятся, как говорится у нас, козаками — и тащут с господ всё, что могут: хлеб, лес, скот и т. д. Я это вполне понимаю — но на первое время в наших местах исчезнут леса, которые все продают теперь с остервенением. Ничего: лес вырастет — и уже не кое-где и не кое-как, а по указаниям науки. *Трезвости* у нас нет — такой пьяный

уголок. Так и будут крестьяне сидеть на оброке с *земли*… пока не придут распоряжения сверху. *О мире, об общине,* о мирской ответственности в наших околотках никто слышать не хочет: я почти убеждаюсь, что это надо будет *наложить* на крестьян в виде административной и финансовой меры: сами собою они не согласятся — то есть они дорожат миром — только с юридической точки зрения, — как *самосудством*, если можно так выразиться, но никак не иначе».

Итак, Тургенев, как ему казалось, убедился на деле, что крестьяне не дорожат общиной и что она, следовательно, несвойственна крестьянской жизни, как утверждали славянофилы. Для того чтобы ее ввести, надо, в сущности, «налагать» ее на крестьян в административном порядке… Поэтому он и подвергал сомнению такие утверждения, как, например, следующее: «Сельская община есть факт первостепенный, самородный и бытовой, возражать на него было бы так же бесполезно, как спорить против климата, языка или физиономии народа» (Ю. Ф. Самарин). То есть Тургенев такие идеи не мог не считать иллюзиями, а их носителей — Дон-Кихотами…

Однако как бы они, по мнению Тургенева, ни заблуждались, они были чистыми, нравственными людьми. У них был героизм именно в тургеневском смысле — готовность пожертвовать собой во имя блага общества. В этом отношении показательно письмо И. С. Аксакова (1844) к родителям, приславшим ему копию с письма Гоголя: «Нет, сознавая истину его слов, я не могу оторваться от жизни и стремлюсь к противоположной цели… Жить, посвятив себя изучению собственной души своей, углубляться в самосознание, просветить духовные очи свои и после долгой, трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божественной любви — высоко, прекрасно. Но это может быть уделом одного лица. Человечество живет, движется, трепещет действительностью… И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды… Мне кажется, что с Гоголевым настроением духа… не будешь годиться для общественной жизни».

Эти слова Аксакова вполне могли бы принадлежать тургеневскому Дон-Кихоту. Они созвучны и герою «Накануне» — Дмитрию Инсарову, в котором Тургенев подчеркивает всяческую определенность: «Черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ». Берсенев называет его железным человеком. Сравнивая лица Берсенева и Инсарова, Шубин замечает: «У болгара характерное, скульптурное лицо… у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть». В отличие от созерцателя Берсенева Инсаров — деятель, ДонКихот, его деятельность подчинена одной цели. Стоило при нем помянуть Болгарию, «все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь». «Когда тот (Инсаров. — *В. А.*) говорит о своей родине, — пишет Елена в дневнике, — он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать».

Инсаров не мыслитель, не философ, не художник — ни музыка, ни красота природы и искусства не привлекают его. В нем как бы нет перспективы. Он подобен плоскости или, точнее, прямой линии, устремленной в одну точку. Сушь и сила — вот поразительно точная характеристика, которую дает ему в романе Шубин. Уже здесь видна какая-то недостаточность… И в самом деле, отсутствие гамлетизма сильно обедняет этот образ. Так, в сцене, когда Инсаров защищает своих спутников от пьяных немцев (а он один в русской компании способен это сделать), Елена содрогается при виде того зловещего, почти жестокого выражения, которое принимает его лицо. «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно».

У Дон-Кихота, как, впрочем, и у Гамлета, есть оборотная сторона, есть грань, переступив которую, добро и героизм грозят перевоплотиться в зло, в жестокость. Любовь к родине может обернуться ненавистью к иноплеменникам, национально-

освободительная борьба — в жестокую резню, подчинение своей личности общей цели — в презрение к отдельному человеку… И вот художник и мыслитель Шубин, понимая эту опасность, лепит два бюста Инсарова. Один изображает благородного героя, а на другом «молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии „супруга овец тонкорунных“, и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться». Этот второй лик Инсарова Берсенев назвал «Берегитесь, колбасники» (подразумевая немцев). Однако если Шубин, вылепивший нечто подобное и на свой счет, способен был осознать свои недостатки, то Инсаров к такому осознанию способен не был.

По мнению Тургенева, любовь — ненависть (этот «глухой огонь», сжигающий Инсарова), не ограниченная ни единым проявлением жалости или слабости, это безудержное стремление к своей единственной цели, в состоянии погубить своего носителя. Он рисует символическую ситуацию: Инсаров умирает от болезни, в которой, как говорит врач, «его же силы теперь против него направлены».

Тургенев все время подчеркивает, что Инсаров человек не русский, что русский не мог бы быть похожим на него. Елена спрашивает себя: «Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским». В его целеустремленности и методическом упорстве Берсеневу и Шубину видится какая-то «неметчина». «Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же, как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною». Но была ли бы такая аккуратность смешною в деле — кто знает… Не смешон и принцип не менять никаких своих решений, — это ведь принцип самоуверенной безгрешности, опасный для всех прочих…

Так Тургенев вплотную подводит читателя к спору с революционными демократами о сильной личности, которую они упорно противопоставляли «нерешительным» интеллигентам-дворянам (например, Чернышевский в статье по поводу «Аси»). Пародируя Чернышевского, Тургенев вводит в одну из речей Шубина такую характеристику «решительного» деятеля: «Герой не должен уметь

говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра». В самой последней фразе — ответ Тургенева Чернышевскому. Герои другого калибра — сознательно-героические натуры…

Что могли бы принести России герои, подобные Инсарову, такие желанные для русских демократов? Тургенев чувствовал, что Инсаровы могут становиться жестокими тиранами. И если это возможно в Болгарии, где герой находится в единстве с народом (у них одна цель!), то что говорить о России, где все разобщено? Призывать к революционной борьбе против «внутренних турок» (как выразился Добролюбов в статье о «Накануне») — значит вести к окончательному расколу нации, к кровопролитию, страшным бедствиям… Это отсутствие *сознания*, этот *утопизм* революционных демократов Тургенев определил совершенно безошибочно. Вот почему он был возмущен статьей Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева», где роман использован был лишь как средство для революционной пропаганды против «внутренних турок». Он просил Некрасова, редактора журнала «Современник», не публиковать этой статьи. И после того как она в журнале все-таки появилась, вышел из состава редакции, перестал печататься в нем.

Инсаров — болгарин. Таких *мужчин*, как он, в России не было (в романе это подчеркнуто). Но уже стали пробуждаться к деятельности женщины, и, конечно, по-своему, *через любовь*, приобщаясь к большим общественным делам. Елена Стахова — во многом отражение Инсарова, но не его тень. Она похожа на него резкостью своих черт, устремленностью вперед. «Она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед». «Слабость возмущала ее, — пишет Тургенев, — глупость сердила, ложь она не прощала „во веки веков“; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, — а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, — и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь».

Так же, как Инсарова, ее не привлекают ни чтение, ни музыка, ни красоты природы — ей чужда вообще созерцательность… Она с детства стремится к деятельному добру. «Нищие, голодные, больные ее

занимали, тревожили, мучили», — пишет Тургенев. Она всегда готова к самопожертвованию. Но это самопожертвование — не христианское смирение, ведь даже милостыню она подает нищим «с невольною важностью»… А жертвует она всем. По мнению Тургенева, именно такой тип женской самоотверженности и героизма обладает жизнестойкостью, будущим. Вместе с тем это пример русского героизма, русского самопожертвования, характер, выросший именно на русской почве. «А дочь Николая Артемьевича Стахова! — восклицает Шубин. — Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну…» Но не пришло то время, как полагает Тургенев, когда натуры, подобные Елене Стаховой, будут нужны России. А нужны они — будут…

Елена, очевидно, символизирует в романе женский тип героизма (свойственный не только женщинам). Вот что писал о женственности в характере славян в те же годы Герцен: «Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко „убаюкиваются своими песнями“, как заметил один византийский летописец, „и дремлют“ (вспомним Увара Ивановича. — *В. А.*). Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непонимания друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым».

В 1857 году в Лондоне Тургенев мог слышать этот текст от самого Герцена (он был написан, но еще не опубликован). Тургенев сообщает Полине Виардо в мае того же года: «Утром был у Герцена, который читал мне свои „Воспоминания“». Мысль Герцена, по всей видимости, была близка Тургеневу, также считавшему, что Россия должна пойти за Западом, взяв оттуда все лучшее. Перекликаются со всей проблематикой романа и рассуждения Герцена о своеобразии России, полемически направленные против славянофилов. «Ошибка славян (то есть славянофилов. — *В. А.*) состояла в том, — писал он, — что им

кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития… Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском».

Из подобных представлений выросла в романе Тургенева фигура Берсенева. Это пример человека, в котором есть «живые стихии» русской жизни, но который оплодотворен мыслью Запада. Не случайно Шубин называет его «будущим посредником между наукою и российскою публикой». Тургенев намеренно сближает Берсенева с Инсаровым. Не случайно Елена едва не полюбила Берсенева. Она как бы жалела, что в Инсарове (мужчине, бойце) нет берсеневских черт (кротости, мягкости). Елене кажется, что Берсенев не обладает волей, но это далеко не так. Его воля, не отражаясь в его внешности, служит ему не хуже, чем Инсарову. Есть у него благородная цель и идея (пусть не такая яркая и великая!): память об отце, передавшем ему перед смертью «светоч» науки и благословившем его на служение ей. Он всегда с книгой, за изучением философии и истории. «Недаром мне говаривал отец, — вспоминает Берсенев, — мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики — мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!»

Правда, предмет его занятий далек от насущных нужд России, его не употребишь в деле подготовки текущих реформ… Он устремлен в будущее, ложится в основу просвещения грядущих поколений (Берсенев хотел «идти по следам» знаменитого историка Грановского)… Он нисколько не эгоист. «Я люблю говорить с Андреем Петровичем, — пишет Елена в дневнике о Берсеневе, — никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном». Поступки Берсенева благородны, но он как бы не сознает этого, то есть они естественны. Он, например, сообщает Елене, которую всей душой любит сам, о любви к ней Инсарова. Просиживает у постели Инсарова дни и ночи и спасает его от верной смерти. Желание помогать, спасать да еще светлая печаль живут в его сердце. В этой светлой печали

слышится душа самого Тургенева («самого печального человека на свете», как о нем говорили, что весьма напоминает рыцаря Печального Образа, то есть Дон-Кихота…). «Всё очень тихо вокруг, — пишет Тургенев в июле 1859 года М. А. Маркович, — слышатся детские голоса и шаги (у г-жи Виардо прелестные дети) — в саду воркуют дикие голуби — а малиновка распевает; ветер веет мне в лицо — а на сердце у меня — едва ли не старческая грусть. Нет счастья вне семьи — и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю… Что лепиться к краешку чужого гнезда!..» Те же чувства и те же слова у Берсенева: «Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда?..»

«О вы, русские, золотые у вас сердца!» — восклицает Инсаров, имея в виду главным образом Берсенева. Жизнь сердца — действительно главное в Берсеневе. Тургенев показывает, что во всех тех героях, которые ему хоть сколько-нибудь симпатичны, эта жизнь сердца играет большую роль. Мягкость души, сердечность русского человека нередко выражается в его способности плакать (может быть, это происходит от способности русского человека к глубокому покаянию, в православном понимании слезы — великий Божий дар). Как отмечают современники, этой способностью обладал сам Тургенев… Все герои «Накануне», кроме «железного» Инсарова, Зои да «машины» Курнатовского, имеют этот дар. Впрочем, и железная душа Инсарова однажды смягчилась. «Он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь… чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза…» Слезы их — Елены, Шубина, отца и матери Елены, в особенности Берсенева, — очищающие и примиряющие, идущие от полноты сердца, — льются в минуты счастья и в те редкие минуты, когда душа раскрывается для добра, прощения, соединения, как, например, лились эти слезы у отца Елены в прощальной сцене его последнего родительского благословения.

Не принимая идеи об общине и общинном сознании как идеале русской жизни, Тургенев показывает в «Накануне», что в крайние, поворотные моменты жизни почти все его герои способны отказаться от личных — эгоистических — интересов, забыть о себе (а это и есть проявление общинного сознания). Это означает, что они — *живые*

души. Так с великим трудом, но все же преодолевает свой эгоизм Шубин, осознав его со «смиренномудрием» (не случайно здесь Тургенев употребляет слово православного богословского словаря), так Берсенев, не страдая «многоглаголанием» (и это слово оттуда), тихо и незаметно совершает чудо самопожертвования. Так мать Елены делает все, чтобы отец простил Елену, а когда уже у нее готов сорваться с языка укор Инсарову, она поднимает глаза и, увидя его больным, забывает свои упреки, ее охватывает жалость. В особенности эти свойства русского человека сказываются в характере отца Елены. Тургенев рисует его пошловатым, опустившимся, иногда жестоким, смешным, капризным, и ни герои романа, ни читатель не принимают его всерьез. Но сцена отъезда Елены и Инсарова и прощание с ними Николая Артемьевича принадлежат к самым сильным и потрясающим эпизодам в русской прозе. Широта натуры, отцовское горе, полное забвение себя и своих обид, яркая вспышка любви — все слилось в этой сцене отцовского напутствия…

Тургенев, подобно Гоголю, придавал огромное, почти мистическое значение языку народа — русскому языку, — видя в нем его *живую душу* (вспомним его стихотворение в прозе «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..»), хранительницу всех качеств народа. Откуда в Стахове вдруг появилось это безоглядное благородство (а вместе с тем и народные, национальные качества)? Да оно жило в его душе, как живет в душе всякого русского, ожидая своего решительного часа, чтобы воплотиться в действие… Жило в памяти, в слове…

Герои «Накануне», все эти Гамлеты и Дон-Кихоты — поистине «живые души», несущие в себе зародыши будущего. Но этого будущего для России Тургенев не мыслит без участия Европы. И он отправляет туда сначала Берсенева (в Гейдельберг, Берлин и Париж), который стал ученым и публикует статьи, готовясь в профессора… потом Шубина в Рим, где он как скульптор не встречает понимания богатых русских заказчиков, предпочитающих ему поверхностных французов… Шубин в Риме думает о России. «Помните, я спрашивал у вас… будут ли у нас люди? — пишет он Увару Ивановичу, — и вы мне отвечали: „Будут“. О черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего „прекрасного далека“, снова вас спрашиваю: „Ну что же, Увар Иванович, будут?“» —

Шубин цитирует Гоголя… Следующей фразой Тургенев кончает роман: «Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор».

Так, с явным воспоминанием о Гоголе (с характерным для него Римом, где плодотворнее всего работал он над «Мертвыми душами») Тургенев расстается со своими героями и сам, как бы вместе с Гоголем, задумывается о России — он, как и Гоголь, видит ее по большей части из своего «прекрасного далека»…

Виктор Афанасьев

Накануне

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками

дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенев.

— Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)

— Важный пущен колер, — промолвил Шубин. — Одно слово, натура!

Берсенев покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с; это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенев. — Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К черту! к черту! к черту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — Бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет…

Шубин высунул язык.

— Постой, постой, — возразил Берсенев. — Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь…

— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах… в девушках, да и то с некоторых пор…

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо… Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе[1]. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсенев, — подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было… Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только вы ражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо… странное существо, — прибавил он после короткого молчания.

— Да; она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенев.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, — тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало… Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и

усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты, — начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук, — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм, — возразил Шубин, — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь… какое сильное, горячее слово! Природа… какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!»[2] — или нет, — прибавил он, — не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене[3].

Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища, — зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство… Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил…

— От всей души, — подхватил Берсенев.

— Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено… Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою, — начал он, — не всегда природа намекает нам на… любовь. (Он не сра зу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

— И в любви жизнь и смерть, — перебил Шубин.

— А потом, — продолжал Берсенев, — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога[4] (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это…

— Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак

подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом, — мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? какие это слова?

— Да хоть бы искусство, — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым, — повторил Берсенев. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на днях опять встретил Инсарова, — начал Берсенев, — я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой… и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти

философические мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти.

Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута… я недаром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался, — заговорил Шубин, — да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

— У нас есть русалки, — заметил Берсенев.

— Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора… Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда…

— То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и…

— Не договаривай, пожалуйста, — перебил Берсенев.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские… Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию, — проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, — и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

— Ставассер полетел же…[5] И не он один. А не полечу — значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, — продолжал Шубин, — там солнце, там красота…

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин. — Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, — возразила не без досады девушка, — отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

— О, Боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь! Helène пошла было со мною, — продолжала она, — да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.

Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные — бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру… Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, — и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцево: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а

также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur[6]; это название очень ему понравилось. «Да, — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, — меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» — или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Всё это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen[7].

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала, что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемо гала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его

тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным, — его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

IV

— Пойдемте же кушать, пойдемте, — проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. — Сядьте подле меня, Zoe, — промолвила Анна Васильевна, — а ты, Helène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoe. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoe ответила ему полуулыбкой. Эта Zoe, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» — но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное…»

— «La dernière pensee» de Weber?[8] — спросила Зоя.

— Ах да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

— Опять старые шутки, — произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

— Старые шутки, — повторил Шубин. — Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

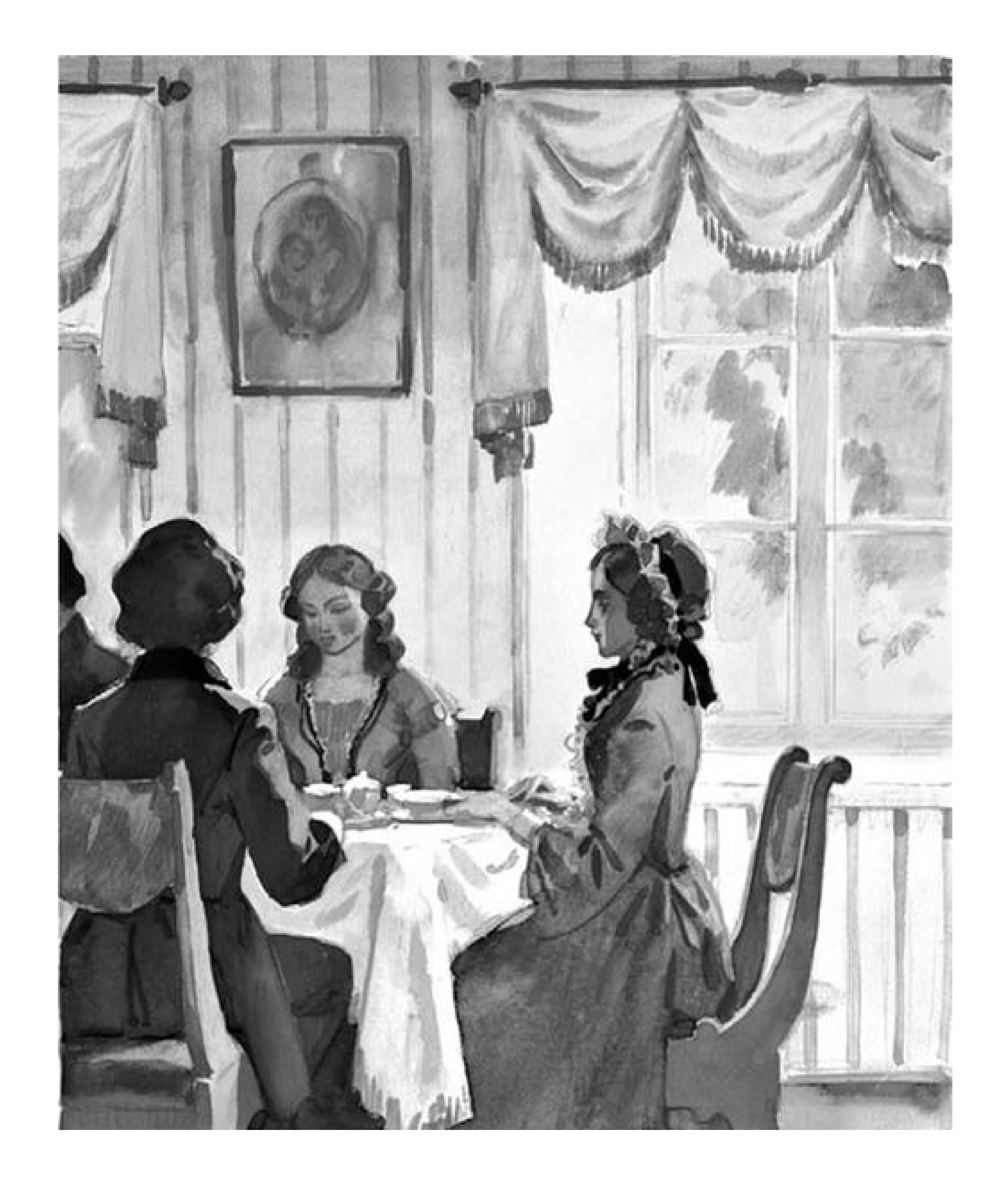
— Это почему? — спросила Елена. — Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка…

— Конечно, — перебил Шубин, — она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично… польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно… К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, — прибавил он сквозь зубы. — Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

— Итак, вы желали бы быть профессором? — спросила Елена Берсенева.

— Да, — возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. — Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого… Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда…



Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.

— Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена.

— Да, или философии, — прибавил он, понизив голос, — если это будет возможно.

— Он уже теперь силен, как черт, в философии, — заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, — на что ему за границу ездить?

— И вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича… Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да… смущением, которого… которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело… Я никогда не забуду его последних слов.

— Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

— Да, Елена Николаевна, в феврале.

— Говорят, — продолжала Елена, — он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

— Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

— Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные…

— Андрей Петрович, — перебила его Елена, — извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенев слегка улыбнулся.

— Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга…

— Андрей Петрович! — воскликнул вдруг Шубин, — ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!

— Вовсе не лекцию, — пробормотал Берсенев и покраснел, — я хотел…

— А почему ж бы и не лекцию, — подхватила Елена. — Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

— Чему же вы смеетесь? — спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

— Ну полноте, не сердитесь, — промолвил он спустя немного. — Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

— Да; и о французских романах, о женских тряпках, — продолжала Елена.

— Пожалуй, и о тряпках, — возразил Шубин, — если они красивы.

— Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

— А, вот как? — начал он неверным голосом. — Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

— Я не думала отсылать вас отсюда.

— Вы хотите сказать, — продолжал запальчиво Шубин, — что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

— Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, — заметила она.

— А! упрек! упрек теперь! — воскликнул Шубин. — Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки… Но если б *я* захотел отплатить вам упреком и напомнить вам… Прощайте-с, — прибавил он вдруг, — я готов завраться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

— Дитя, — проговорила Елена, поглядев ему вслед.

— Художник, — промолвил с тихой улыбкой Берсенев. — Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

— Да, — возразила Елена, — но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой,

неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.

V

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

— Кто там? — раздался голос Шубина.

— Я, — отвечал Берсенев.

— Чего тебе?

— Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

— Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

— Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.

— Ты не наговорился еще с Еленой?

— Полно же, полно; впусти меня!

Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы, — ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чутьчуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу; Берсенев тихо воскликнул: «А!» — и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени,

падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

— Я рад, что ты пошел по этой дороге, — с трудом проговорил он, — я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

— Домой.

— Я тебя провожу.

— Да как же ты пойдешь без шапки?

— Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.

Приятели сделали несколько шагов.

— Не правда ли, я был очень глуп сегодня? — спросил внезапно Шубин.

— Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

— Гм, — промычал Шубин. — Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли, — прибавил он, — я должен тебе заметить, что я… что… Думай обо мне что хочешь… я… ну да! я влюблен в Елену.

— Ты влюблен в Елену! — повторил Берсенев и остановился.

— Да, — с принужденною небрежностию продолжал Шубин. — Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.

— Другого? кого же?

— Кого? Тебя! — воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.

— Меня!

— Тебя, — повторил Шубин.

Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

— И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— Что за вздор ты мелешь! — произнес наконец с досадой Берсенев.

— Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился; но, во-первых, я

для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты… постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, — нет, не которыми, — *коими* столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!

— У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.

— Плечи?

— Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут *ты* подвернулся: ты идеалист, ты веришь… во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить… и… и… между тем…

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенев приблизился к нему.

— Павел, — начал он, — что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

— Андрей Петрович, — заговорил он, — ты можешь думать обо мне что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

— Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.

— Куда ты торопишься? — продолжал Шубин. — Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не

спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь — сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, — оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне… Отчего ты не отвечаешь? — заговорил опять Шубин. — О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенев, ты счастлив?

Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и крикнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» — повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это… это, вот видишь… тут есть у меня знакомое семейство… так это у них… ты не подумай…» — и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.

— Утри, по крайней мере, свои слезы! — крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им

произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, — думал он… — но она когда-нибудь полюбит… Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, — думал он, — я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера[9] — и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

VI

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие: она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, — а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, — и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, — воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, — была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила

литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка, — кричал он ей, бывало, — иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», — иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на *всей Божьей воле*; с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда — ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье — казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о Божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье; отец увидал ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся — и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку;

Елена выучилась у ней этой песенке… Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

— Откуда ты набралась этой мерзости? — спросила она свою дочь.



Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут…

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственною своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» — думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки — и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко

нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Берсенев отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да, кстати, ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсеневу, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берсенев скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсеневу; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалилась наконец над Берсеневым и указала ему квартиру Инсарова. Берсенев застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднение забредшего человека, — большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсеневу, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это вы!» или: «Ах, Боже мой! какими судьбами?», не сказал даже: «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному, находившемуся в комнате, стулу.

— Сядьте, — сказал он и сам присел на край стола.

— У меня, вы видите, еще беспорядок, — прибавил Инсаров, указывая на груду бумаг и книг на полу, — еще не обзавелся как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем, приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалою грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху.



— Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спросил его Берсенев.

— Эта дешевле; к университету ближе.

— Да ведь теперь вакации… И что вам за охота жить в городе летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенев закурил трубку.

— Вот я, — продолжал он, — нанял себе домик возле Кунцева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенев затянулся.



— Я даже думал, — заговорил он снова, выпуская дым тонкою струей, — что если бы, например, нашелся кто-нибудь… вы, например, так думал я… который бы захотел… который бы согласился поместиться у меня там наверху… как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

— Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

— Да; у меня наверху там есть лишняя комната.

— Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю, средства мои мне не позволяют этого.

— То есть как же не позволяют?

— Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

— Да ведь я… — начал было Берсенев и остановился. — Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, — продолжал он. — Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.

— По крайней мере, навестите меня когда-нибудь, — начал он, погодя немного. — От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать… Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

— Позвольте узнать, — спросил он наконец, — сколько вы платите за вашу дачу?

— Сто рублей серебром.

— А сколько в ней всего комнат?

— Пять.

— Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

— По расчету… Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

— Может быть; но послушайте, — прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы. — Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

— Разумеется; но, право же, мне совестно.

— Иначе нельзя, Андрей Петрович.

— Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцева, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец, пришел хозяин; этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцева?» — а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать», — повторил портной сурово и скрылся.

Берсенев отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезною, в России мало употребительною вежливостью и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

VIII

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке — «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы… как-нибудь, того…»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно. Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился наконец и покачал головой.

— Да, — начал он, — в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать старшим. (Он произнес: *ман*, в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав *я*, а *они* правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

— Елену Николаевну, например, — продолжал Николай Артемьевич, — Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом все, за

исключением родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса, это все не по нашей части. Но господин Шубин… положим, он артист удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим, — это я, признаюсь, dans mon gros bon sens[10], допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.



— Что же Павел Яковлевич не идет? — проговорила она. — Что это я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

— Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обеспокоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

— Я вам повторяю, что я этого не требую. И что за охота… devant les domestiques…[11]

Анна Васильевна слегка покраснела.

— Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда… devant… les domestiques… Ступай, Федюшка, да смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.

— И нисколько это все не нужно, — проговорил сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате. — Я совсем не к тому речь вел.

— Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.

— Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это всё фразы.

— Как на что? его вразумить надо.

— Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

— Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

— Курс лечения мне необходим, — заметил Николай Артемьевич, — у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

— Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? — промолвил он.

— Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

— Николай Артемьевич вам жаловался на меня? — спросил Шубин и с тою же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.

— Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» — подумал Шубин и обратился к Стахову:

— Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, — проговорил он с учтивым полупоклоном, — если я вас точно чем-нибудь обидел.

— Я вовсе… не с тем, — возразил Николай Артемьевич, по-прежнему избегая взоров Шубина. — Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

— О, это не подвержено никакому сомнению! — промолвил Шубин. — Но позвольте полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

— Нет, я ничего не знаю, — заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

— О Боже мой! — торопливо воскликнул Николай Артемьевич, — сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены! В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, — говорят: семейный круг, interieur, будь семьянином, — а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб… или… или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут…

И, не докончив начатой речи, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

— В клуб? — горько прошептала она. — Не в клуб вы едете, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода — да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легкомысленный человек, — прибавила она, возвысив голос, — не в клуб вы едете. А ты, Paul, — продолжала она, вставая, — как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

— Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста! — Анна Васильевна поискала вокруг себя. — Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

— Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

— Дарья его вечно где-нибудь позабудет, — промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

— Не так бы тебя, молокососа… следовало, — говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

— А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

— За что? Млад ты, так уважай. Да.

— Кого?

— Кого? Известно кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

— Ах вы, представитель хорового начала, — воскликнул он, — черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!



Увар Иванович заиграл пальцами.

— Полно, брат, не искушай.

— Ведь вот, — продолжал Шубин, — не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня»[12]; вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели — ну и скучно мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

— Конечно, ты, — возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

— Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь, — начал он подобострастным голосом, — эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

— Не искушай, говорят! — простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

— Эй! — воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович, — того… рюмку водки.

Казачок принес водки и закуску на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собой на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

IX

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую трехугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь, — стояло в этой записке, — что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая святыня, которую одни âtres sans coeur[13], к которым я не имею причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвратите.) Н. С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь — я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшееся небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно-зеленые вечером», — и отправился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:

— Не глядите в мою сторону, я не стою.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

— Я прошу вас не смотреть на меня, — начал он, — а заговариваю с вами: противоречие явное! Но это все равно, мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему — не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

— Нет, — сказала она наконец, — я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

— Какое озабоченное… и какое равнодушное лицо! — пробормотал он. — Елена Николаевна, — продолжал он, возвысив

голос, — позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

Шубин умолк.

— И только? — спросила Елена.

— Только.

— Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.

— Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.

— Да разве я… — начала было Елена.

— А разве нет?

Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.

— Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве, — сказала Елена, — а ваше подозрение несправедливо. Я и не думала чуждаться вас.

— Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что? небось не правду я сказал?

— Может быть.

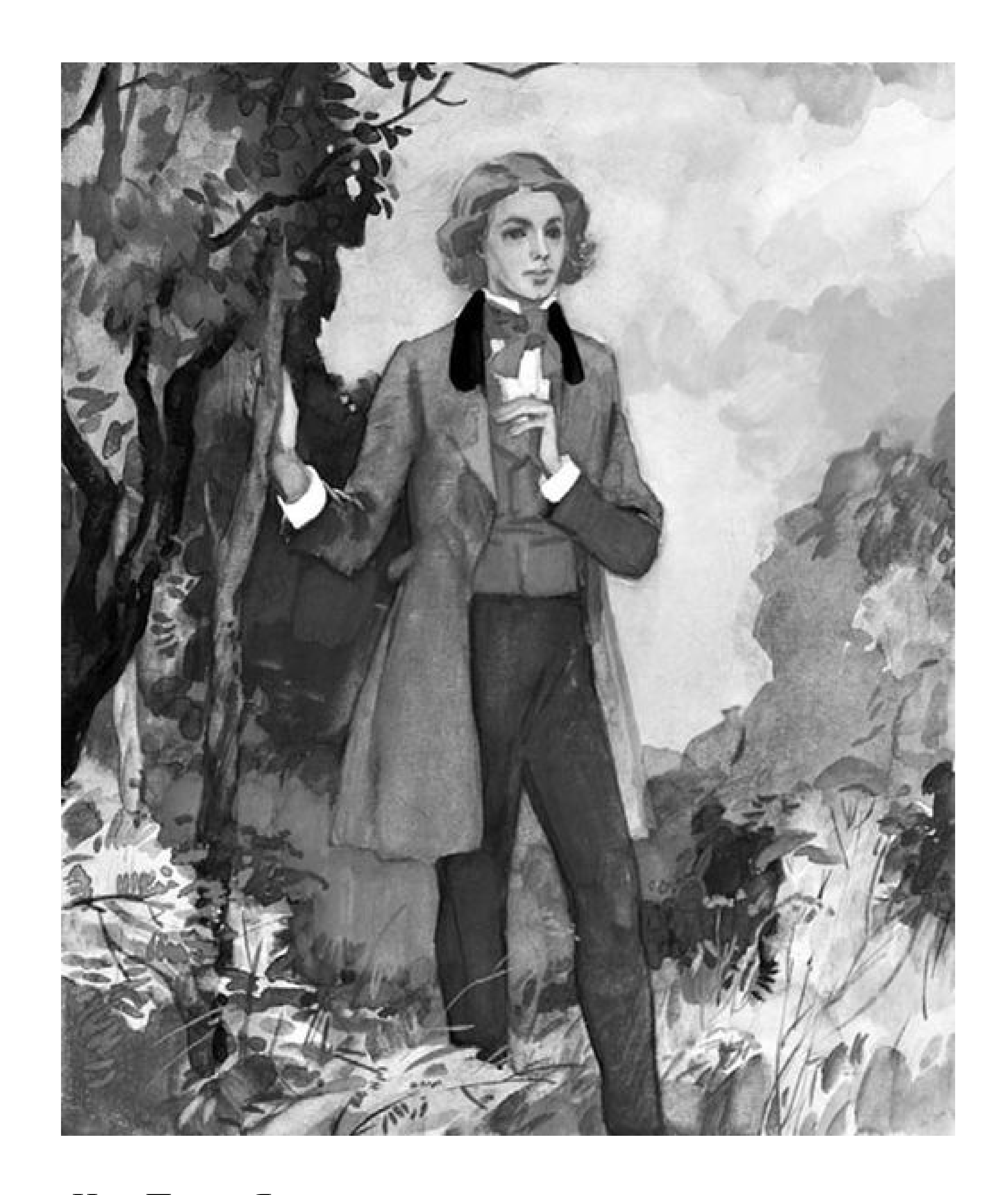
— Да отчего же это? отчего?

— Мои мысли мне самой не ясны, — проговорила Елена.

— Тут-то их и доверять другому, — подхватил Шубин. — Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.

— Я?

— Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину притворно, потому что я художник; что я не способен не только ни на какое дело, — в этом вы, вероятно, правы, — но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник, — и все потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, Богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.



— Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.

— Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, casus incurabilis. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, Господи! неужели это правда, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит,

отчего она радуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет… Скажите, — промолвил он после небольшого молчания, — вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.

— Не думаю, Павел Яковлевич; нет.

— Что и требовалось доказать, — проговорил с комической унылостию Шубин. — Засим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:

— Прощайте.

Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

— Андрей Петрович! — крикнул Шубин.

Тот остановился.

— Ступай, ступай, — продолжал Шубин, — я только так, я тебя не задерживаю, — и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет… кого-то она ждет во всяком случае… Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этою лжеязвительною усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь… ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже; к князю Чикурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.?[14] И в деревне мне нет покоя. Addio![15]

Берсенев выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузясь немножко за него; потом он вошел на двор стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с

самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частию геморроидальное выражение.

X

Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрою повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище «Самосон»[16]. Берсенев снова упомянул о своем отце: он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертию, иллюминат[17], старый геттингенский студент, автор рукописного сочинения о «Преступлениях или преобразованиях духа в мире», сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм[18] и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Немудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел: отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом — сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о

Вашингтоне[19]. «Юные питомцы!» — начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный геттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, — говорил он ему за два часа до смерти, — я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца». Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету.

— Скажите, — спросила его Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди?

Берсенев вспомнил слова Шубина.

— Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в Московском университете! Только не теперь. Теперь это училище — не университет. Мне было тяжело с моими товарищами, — прибавил он, понизив голос.

— Тяжело?.. — прошептала Елена.

— Впрочем, — продолжал Берсенев, — я должен оговориться. Я знаю одного студента, — правда, он не моего курса, — это действительно замечательный человек.

— Как его зовут? — с живостью спросила Елена.

— Инсаров, Дмитрий Никанорович. Он болгар.

— Не русский?

— Нет, не русский.

— Зачем же он живет в Москве?

— Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра

его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В тысяча восемьсот тридцать пятом году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанною. — Елена содрогнулась. Берсенев остановился.

— Продолжайте, продолжайте, — проговорила она.

— Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отмстить, но он только ранил кинжалом агу… Его расстреляли.

— Расстреляли? без суда?

— Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братнинего семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

— Он говорит по-русски?

— Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать — не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета…

— Что же тогда? — перебила Елена.

— А что Бог даст. Мудрено вперед загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, — промолвила она. — Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали… Инсаров?

— Как вам сказать? по-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.

— Как так?

— Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.

— Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?

— Еще бы! Он очень будет рад.

— Он не горд?

— Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет.

— А он беден?

— Да, не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но все это безделица.

— У него, должно быть, много характера, — заметила Елена.

— Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность — не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего… Да вот я его к вам приведу, погодите.

— И не застенчив он? — спросила опять Елена.

— Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

— А разве вы самолюбивы?

Берсенев смешался и развел руками.

— Вы возбуждаете мое любопытство, — продолжала Елена. — Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?

Берсенев улыбнулся.

— Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

— Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

— Ничего.

— Зачем он ездил в Софию?

— Там отец его жил.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину! — промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно, так они велики…

В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился.

Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре… не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошею грустию. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Историю Гогенштауфенов» и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.

XI

Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсеневу с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель, подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок; но Инсаров, с свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.

— Помилуйте, — возразил Берсенев, — вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мною? Мы бы расход пополам делили.

— Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, — отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу; но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то, по крайней мере, весьма удобною.

На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии,

переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возражений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-нибудь? Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенев перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминовении его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался — нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил, не спеша, о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.

«А ведь, чего доброго, — подумал между тем Берсенев, — турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.

— Рекомендуюсь без церемоний, — начал он с светлым и открытым выражением лица, — моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?

— Я Инсаров.

— Так дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по

ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволения слепить вашу голову.

— Моя голова к вашим услугам, — проговорил Инсаров.

— Что же мы делаем сегодня, а? — заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени. — Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода славная; сеном и сухою земляникой пахнет так… словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его многочисленные красоты. («А его коробит», — продолжал думать про себя Берсенев.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

— Я не знаю, — заметил Берсенев, — как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.

— Вы хотите работать? — спросил он как-то в нос.

— Нет, — отвечал тот, — нынешний день я могу посвятить прогулке.

— А! — промолвил Шубин. — Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза молодые — глядят далеко. Я знаю трактирчик прескверненький, где нам дадут обедишко препакостный; а нам будет очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям», — шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» — раза два заметил ему Берсенев. «Да, я француз, полуфранцуз, — возражал ему Шубин, — а ты держи середину между шуткою и серьезом, как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от

одной из этих стен; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрели до «скверненького» трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех — и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но великого Венелина[20], здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома[21], жившего чуть не в Адамовы времена.



— В девятом столетии, — поправил его Инсаров.

— В девятом столетии? — воскликнул Шубин. — О, какое счастье!

Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его и волновался внутренне, — а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.

XII

— *Ирой* Инсаров сейчас сюда пожалует! — торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.

— Wer?[22] — спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривою улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

— Вы слышали, — повторил он, — господин Инсаров сюда идет.

— Слышала, — отвечала она, — и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.

— Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна, — пробормотал он, — но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.

— Я об этом вас не спрашивала, — промолвила Елена и встала.

— Господин Инсаров молод? — спросила Зоя.

— Ему сто сорок четыре года, — отвечал с досадой Шубин.

Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенев представил Инсарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предуведомить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, — и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. «Оба, — думал он, — не красивы собой; у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева», — решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно *дачный*, именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие,

довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду… На дворе стемнело, и гости удалились.

Инсаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, спокойно твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». «Но, — думала она, — он сегодня говорил очень мало, я сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до другого раза… а глаза у него выразительные, честные глаза!» Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.

— Как вам понравились ваши новые знакомые? — спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова.

— Они мне очень понравились, — отвечал Инсаров, — особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

— Надо будет к ним ходить почаще, — заметил Берсенев.

— Да, надо, — проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина, бледного как полотно.

— Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! — начал было Берсенев.

— Тс! — перебил его Шубин, — я пришел к тебе украдкой, как Макс к Агате[23]. Мне непременно нужно сказать тебе два слова

наедине.

— Да войди же в комнату.

— Нет, не нужно, — возразил Шубин и облокотился на оконницу, — этак веселее, больше на Испанию похоже. Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии *нема*, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии. Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: *ты* с ним никогда на *ты* не будешь, и никто с ним на *ты* не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава Богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, *шарму*; не то что в нас с тобой.

— К чему ты меня приплел? — пробормотал Берсенев. — И в остальном ты не прав: ты ему нисколько не противен, и с своими соотечественниками он на *ты*… я это знаю.

— Это другое дело! Для них он герой; а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю; герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.

— Что тебя Инсаров так занимает? — спросил Берсенев. — Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?

— Я пришел сюда, — начал Шубин, — потому что мне дома очень было грустно.

— Вот как! Уже не хочешь ли ты опять заплакать?

— Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность…

— Ревность? к кому?

— К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело… Да что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься, — заметил Берсенев.

— В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье… Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит, — значит, он не страдает… Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» — хотел было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсеневу даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул «Степь моздокскую».

XIII

В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцева он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенев ходил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностию занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и италиянские формовщики, его приятели и учители. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а чтобы сблизиться с человеком — нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная, грусть щемила его сердце.

Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

— Вообразите себе, — начал он с принужденной улыбкой, — наш Инсаров пропал.

— Как пропал? — проговорила Елена.

— Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.

— Он не сказал вам, куда он пошел?

— Нет.

Елена опустилась на стул.

— Он, вероятно, в Москву отправился, — промолвила она, стараясь казаться равнодушной и в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю, — возразил Берсенев. — Он ушел не один.

— С кем же?

— К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.

— Болгары? почему вы это думаете?

— А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне неизвестном, но славянском… Вот вы всё находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Представьте: вошли к нему — и ну кричать и спорить, да так дико, злобно… И он кричал.

— И он?

— И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники — не ремесленники и не господа… Бог знает что за люди.

— И он с ними отправился?

— С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала, — они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмехнулась.

— Вы увидите, — промолвила она, — все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.

— Дай Бог! Только напрасно вы употребили это слово. В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет…

— Шубин! — перебила Елена и пожала плечом. — Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу…

— И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения[24], — с улыбкой заметил Берсенев.

— Так; но зато на другой день и было сражение. — А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется, — прибавила Елена и попыталась

переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсенев ушел.

В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся, — писал он ей, — загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

— Не узнаете ли вы! — прошептала Елена. — Разве он говорит со мной?

XIV

На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.

— Здравствуйте, — промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня. — Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

— Вы как будто извиняетесь, — отвечала Елена. — Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть… Сядемте тут на скамейке, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.

— Вас, кажется, дома не было это время? — начала она.

— Да, — отвечал он, — я уходил… Вам Андрей Петрович сказывал?

Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.

— Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то… безобразными людьми, — проговорил он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

— Да, — сказала она решительно.

— Что же вы подумали обо мне? — спросил он ее вдруг.

Елена подняла на него глаза.

— Я подумала, — промолвила она… — я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

— Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, — начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, — наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастию, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

— Далеко отсюда?

— Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере, недаром хлопотал: уладил дело.

— И трудно вам было?

— Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать.

— Как? Из-за денег была ссора?

— Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?

— И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?

— То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

— Кому же?

— А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так сбухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

— Вы дорожите моим мнением, — проговорила Елена вполголоса, — почему?

Инсаров опять улыбнулся.

— Потому что вы хорошая барышня, не аристократка… вот и все.

Настало небольшое молчание.

— Дмитрий Никанорович, — сказала Елена, — знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?

— Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал.

— Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенною с вами. Можно?

Инсаров засмеялся и сказал:

— Можно.

— Предваряю вас, что я очень любопытна.

— Ничего, говорите.

— Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство… Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину… Не отвечайте мне, ради Бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль… Скажите, встретились ли вы с тем человеком…

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.

— Елена Николаевна, — начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену, — я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава Богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его, — я бы очень спокойно убил его, — но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении… или нет, это слово не годится… когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет… И то не уйдет, — повторил он и покачал головой.

Елена посмотрела на него сбоку.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не известно, — отвечал он. — Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.

— Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, — продолжала Елена, — вам было бы очень тяжело в России?

Инсаров потупился.

— Мне кажется, я бы этого не вынес, — проговорил он.

— Скажите, — начала опять Елена, — трудно выучиться болгарскому языку?

— Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про… Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?

— Нет, я ничего не знаю, — ответила Елена.

— Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню…

Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают, — подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело, — у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут…

— Дмитрий Никанорович! — воскликнула Елена.

Он остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога? И когда эта родина нуждается в тебе… Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

— Так вы ни за что не остались бы в России?

А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.

XV

Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной partie de plaisir[25]; и чем затруднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот *стих* зимой — она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом — она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево — нелепость, — и, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл

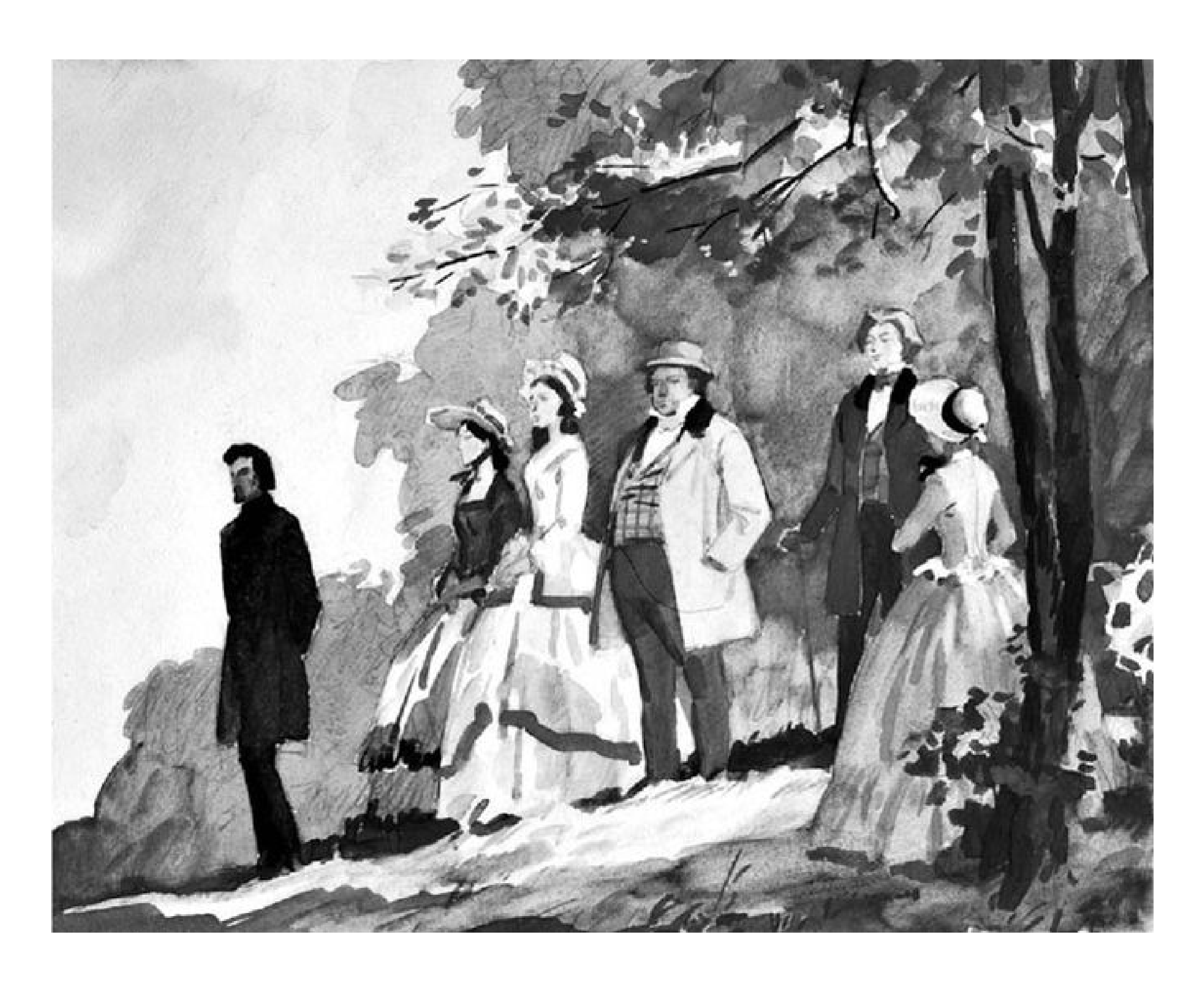
пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!»[26] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного счастия на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны, — шепнул Берсеневу Шубин. — Там теперь Болгария», — прибавил он, показав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело; вдали сияли воды прудов; праздничное, светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» — беспрестанно твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженные восклицания и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изредка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового барежевого платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Эге! — воскликнул вдруг вполголоса Шубин, — Зоя Никитишна, никак, оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду; довольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: в твоем положении это самое лучшее, что ты

придумать можешь; оно же и в ученом отношении полезно. Прощай!» Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав: «Ihre Hand, Madame»[27], подхватил ее и пустился с ней вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называются ландыш, клен, дуб, липа… («Болгария!» — подумал бедный Андрей Петрович.)

Вдруг впереди раздался крик; все подняли голову: сигарочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» — воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое; но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.



— Шалуны, молодой народ, — весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу.

Тот поиграл перстами.

— Какова Зоя Никитишна? — сказал Берсенев Елене.

— А Шубин? — отвечала она.



Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом; даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапуски. Они отыскали большую раскрашенную лодку; отыскали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар

Иванович осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас», — заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфыря!» — проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул: «Вниз по матушке…» Берсенев, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но вышла разноголосица; на третьем стихе певцы запутались, один Берсенев пытался продолжать басом:

«Ничего в волнах не видно», — но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что? — обратился к ним Шубин, — видно, господа петь-то не умеют?» Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж, курносый, — возразил Шубин, — мы тебе покажем. Зоя Никитишна, спойте нам: „Le lac“[28] Нидермейера[29]. Не гребите, вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась… «Allons!»[30] — ласково промолвила Анна Васильевна… Зоя скинула шляпу и запела: «O lac! l’annee à peine a fini sa carrière…»[31].

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое браво раздалось из одной прибрежной беседки и оттуда выскочило несколько красноrожих немцев, приехавших *покнейпировать*[32] в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстухов и даже без жилетов и до того неистово кричали bis! что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить своих знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иванович кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо; он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать;

он оттолкнул его. В это мгновение лодка причалила, и все общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару Ивановичу. «Будьте спокойны», — промычал он ей с набитым ртом. «Дал же Господь такой славный день!» — твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодела. Берсенев заметил ей это. «Да, да, — сказала она, — была и я в мое время хоть куда: из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоседился к Зое и беспрестанно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее потчевал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени; она никак не хотела позволить ему «этакую большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытала. Она чувствовала себя бесконечно доброю, и ей все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева… Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно, — заговорила она. — Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать». Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыном. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» — промолвила Анна Васильевна… Но в это мгновенье, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики — и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

— Бонжур, мадам, — проговорил он сиплым голосом, — как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

— А отчего вы, — продолжал великан дурным русским языком, — не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и браво, и форо?

— Да, да, отчего? — раздалось в рядах компании.

Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну.

— Позвольте, — начал он, — почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени; следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps, triceps и deltoïdeus, что, как ваятель, почел бы за истинное счастие иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

— Я ничего не понимайт, что вы говорит такое, — промолвил он наконец. — Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э! Я официр, я чиновник, да.

— Я не сомневаюсь в этом, — начал было Шубин…

— А я вот что говорю, — продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги, — я говорю: отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас, сей минутой уйду, только

вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.

— Ничего, einen Kuss, это ничего, — раздалось опять в рядах компании.

— Ih! der Sakramenter![33] — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.

— Извольте идти прочь, — сказал он ему не громким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

— Оттого что вы осмелились беспокоить даму, — проговорил Инсаров и вдруг побледнел, — оттого что вы пьяны.

— Как? я пьян? Слишить? Hören Sie das, Herr Provisor?[34] Я официр, а он смеет… Теперь я требую Satisfaction! Einen Kuss will ich! [35]

— Если вы сделаете еще шаг, — начал Инсаров…

— Ну? И что тогда?

— Я вас брошу в воду.

— В воду? Herr Je![36] И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду…

Господин *официр* поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крякнул, все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин *официр*, всей своей массой с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.

— Ай! — дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott![37] — послышалось с другой стороны.

Прошла минута… и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ…

— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.

— Выплывет, — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. — Пойдемте, — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку, — пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.

— А… а… о… о… — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако… это Бог знает что… после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет…

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним горохом забарабанил Берсенев, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы: «Я… думаю… что это хлопнуло?.. а это… он… плашмя…» И вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху…» — «Да, да, — подхватит Увар Иванович, — ноги, ноги… а там хлоп! а это он п-п-плашмя!..» — «Да и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был?» — спросила Зоя. «А я вам доложу, — ответил, утирая глаза, Увар Иванович, — я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он, плашмя…»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его наконец.



А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены (на козлах поместился Берсенев) и молчал; она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает; а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило выражение его лица; потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло: это она сознавала; но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. Partie de plaisir продолжалась слишком долго: вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен, и душист, и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло наконец в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом; он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу.

Впереди замелькали огоньки; их становилось все более и более; наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь: так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево; все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз: она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть: ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: «Чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеневу:

— Ну как же не герой: в воду пьяных немцев бросает!

— А ты и того не сделал, — возразил Берсенев и отправился домой с Инсаровым.

Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.

XVI

Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пятый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневника:

Июня… Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом — совестно; отдать книги, солгать, сказать, что читала, — не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

…Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда. Может быть, я большая грешница; может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме, и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь; надо молиться… А кажется, я бы умела любить!

…Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит об Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью». Какие глупости!

…О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро… да; это главное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове. Когда он приходит, и сидит и слушает внимательно, а сам не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне приятно — но только; а когда он уйдет, я все

припоминаю его слова и досадую на себя и даже волнуюсь… сама не знаю отчего. (Он плохо говорит по-французски, и не стыдится — это мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей.

…Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это оттого происходит, что я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого бы хотела… тот идет мимо.

…Я не знаю, что со мною сегодня; голова моя путается, я готова упасть на колени и просить и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать… Боже мой! Боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь, все другое бессильно: ни мои ничтожные милостыни, ни занятия — ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?

…Инсаров, господин Инсаров, — я, право, не знаю, как писать, — продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там, в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно. Иногда он глядит на меня какими-то испытующими глазами… или это одна моя фантазия? Поль меня все дразнит — я сердита на Поля. Что ему надобно? Он в меня влюблен… да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен. Я к нему несправедлива; он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой вполовину… это правда. Это очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазнаешься.

…Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарах! Он как будто с намерением рассказал мне это. Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

…Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мною в саду! Как он был ласков и доверчив! Как это скоро

сделалось! Точно мы старые, старые друзья и только сейчас узнали друг друга. Как я могла не понимать его до сих пор! Как он теперь мне близок! И вот что удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его *господин Инсаров*, а сегодня… Вот наконец правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет; все другие лгут, все лжет. Андрей Петрович, милый, добрый, за что же я вас обижаю? Нет! Андрей Петрович, может быть, ученее его, может быть, даже умнее… Но, я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда *тот* говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать. Я его расспрошу… Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне!.. Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушною… Равнодушною! Разве я теперь не равнодушна?

…Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вот и все. Что еще записывать?

…Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить… бедный! Мне кажется, он… Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то, что Шубин. Шубин наряден, как бабочка, да любуется своим нарядом; этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей Петрович… я знаю, что я хочу сказать.

…*Ему* приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве. Но насколько он лучше меня. Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель — а я, куда я иду? где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай Бог ему! А я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.

И мамаша его любит; говорит: скромный человек. Добрая мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь…

Все это пустяки! Зачем мне это все в голову приходит?

…А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь… весь… весь… тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не *я* хочу: *то* хочет. Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял… Я ему отдала всю розу.

Я с некоторых пор вижу странные сны. Что бы это значило?

…Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома.

…Дни летят… И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О, теплые, светлые дни!

…Мне все по-прежнему легко и только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

…Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась… но он меня испугал. И потом — какое лицо зловещее, почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; он не согласился с Д. Кто из них прав? А как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча… Но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало.

…Опять беспокойство… Я не совсем здорова.

…Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала: что бы я ни написала, все будет не то, что у меня на душе… А что у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее… Боже мой! когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили…). Он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем я никогда не видала Д. таким грустным. О чем он… он!.. может грустить? Папенька из города вернулся, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел; я заметила, что он очень стал худ и бледен. Он упрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыла о Поле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь не до него… и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мною с каким-то сожалением. Что все это значит? Отчего так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно найти слово…



…Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним… Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

…Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо мною… Я влюблена!

XVII

В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее, роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенев стоял перед ним, с выражением недоумения на лице. Инсаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву.

— Помилуйте! — воскликнул Берсенев. — Теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь известие?

— Я никакого известия не получал, — возразил Инсаров, — но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

— Да как же это можно…

— Андрей Петрович, — проговорил Инсаров, — будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего.

Берсенев пристально посмотрел на него.

— Я знаю, — проговорил он наконец, — вас не убедишь. Итак, это дело решенное?

— Совершенно решенное, — отвечал Инсаров, встал и удалился.

Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.

— Вы имеете сообщить мне что-то, — сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.

— Да; почему вы догадались?

— Это все равно. Говорите, что такое?

Берсенев передал ей решение Инсарова.

Елена побледнела.

— Что это значит? — произнесла она с трудом.

— Вы знаете, — промолвил Берсенев, — что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчета в своих поступках. Но я думаю… Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы… Я, кажется, могу догадаться, какая, собственно, причина этого внезапного отъезда.

— Какая, какая причина? — повторила Елена, крепко стискивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похолодевшей руке.

— Вот видите ли, — начал Берсенев с грустною улыбкой, — как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает, — это были его собственные слова, — для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар, — сказал он, — и мне русской любви не нужно…»

— Ну… и что же… вы теперь… — прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

— Я думаю, — промолвил он и сам понизил голос, — я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал.

— То есть… вы думаете… не мучьте меня! — вырвалось вдруг у Елены.

— Я думаю, — поспешно подхватил Берсенев, — что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

— Андрей Петрович, вы добры как ангел, — проговорила она, — но ведь он придет проститься?

— Да, я полагаю, наверное, он придет, потому что не захочет уехать…

— Скажите ему, скажите…

Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

«Так вот как она его любит, — думал Берсенев, медленно возвращаясь домой. — Я этого не ожидал; я не ожидал, что это уже так сильно. Я добр, говорит она, — продолжал он свои размышления… — Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доброте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране? Я должен быть

доволен — они любят друг друга, и я им помог… „Будущий посредник между наукой и российскою публикой“, — зовет меня Шубин; видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся…»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно, о ту пору в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка-протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» — думала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться; но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижною.

— Послушайте, — торопливо проговорила Елена, — я знаю, зачем вы пришли; Андрей Петрович сообщил мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.

— Я вас не буду удерживать… Вы мне обещаете?

Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.

— Леночка, поди сюда, — промолвила Анна Васильевна, — посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль.

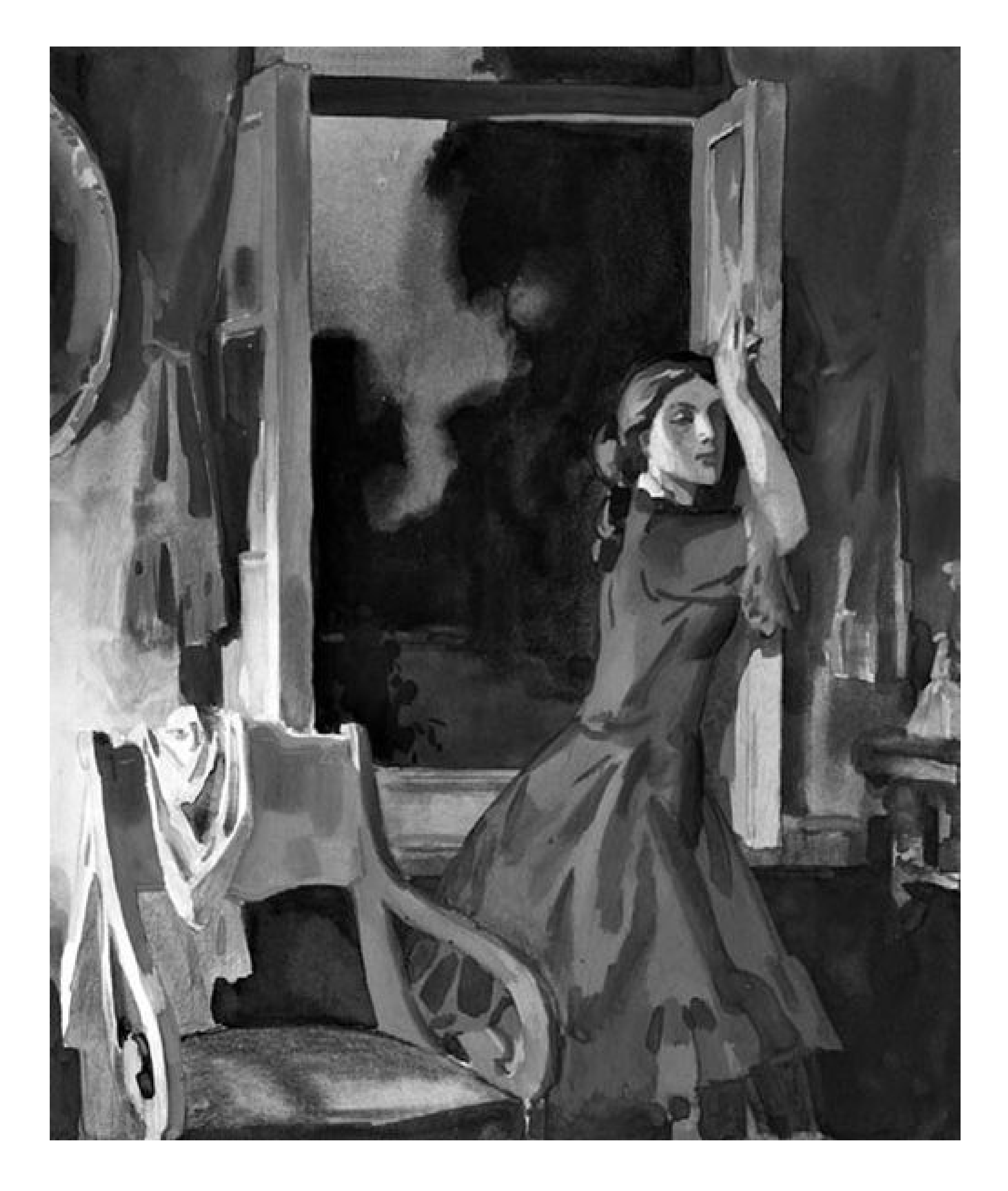
— Сама вышивала, — заметила протопопица.

Елена отошла от окна.

Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно; точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медлительнее протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв

колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала, до изнурения думала всё одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди; она его не чувствовала, но в голове тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет… он не простился с мамашей… он не обманет… Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может… Он словами не обещал прийти… Неужели я навсегда с ним рассталась?» Вот какие мысли не покидали ее… именно не покидали: они не приходили, не возвращались — они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит!» — вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому не видимая тайная улыбка раскрывала ее губы… но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огнистые лучи солнца ударили в ее комнату… «О, если он меня любит!» — воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия…



Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад; но в саду так было тихо, и зелено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! — подумала она, — если это правда, нет ни одной травки счастливее меня, да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и, чтоб как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук, и она еще сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная, — и, окинув ее взглядом, прибавила: — Это платье очень к

тебе идет; ты его всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило девять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее и прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала… да взглянула на часы: еще десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем… Каждое ее слово не то чтоб усилий ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собою печальное и дружелюбное лицо… Она улыбнулась этому лицу. Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробило одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, все громче, и странное дело! время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь…» Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать… Она побежала в свою комнату и упала, лицом на сложенные руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собою высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз приникла ухом: не долетит ли до нее знакомый голос? встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.

XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге… Крупный дождик закапал, она и его не замечала; но он пошел все чаще, все сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг… К ее счастию, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезала. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка», — и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман: старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная», — начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку…

— Денег у меня нет, бабушка, — сказала Елена, — а вот возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.

— О-ох, красавица ты моя, — проговорила нищая, — да на что же мне платочек твой? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет. Пошли тебе Господь за твою доброту!

Раздался удар грома.

— Господи, Иисусе Христе, — пробормотала нищая и перекрестилась три раза. — Да, никак, я уже тебя видела, — прибавила она погодя немного. — Никак, ты мне Христову милостыню подавала?

Елена вгляделась в старуху и узнала ее.

— Да, бабушка, — отвечала она. — Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная.

— Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать, от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое!

— Какая же печаль, бабушка?

— Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь: не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что скажу: попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Уж быть, так быть, а не быть, видно, Богу так угодно. Да. Ты что на меня дивишься? Я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу, и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своею дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. «Что это значит?» — прошептала она невольно.

Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище… Вдруг в десяти шагах от часовни она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей… Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы…

— Дмитрий Никанорович! — проговорила она наконец.

Инсаров внезапно остановился, оглянулся… В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней.

— Вы! вы здесь! — воскликнул он.

Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

— Вы здесь? — повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

— Вы шли от нас? — спросила она его.

— Нет… не от вас.

— Нет? — повторила Елена и постаралась улыбнуться. — Так-то вы держите ваши обещания! Я вас ждала с утра.

— Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал.

Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо и рука были очень бледны.

— Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

— Да, — сурово и глухо промолвил Инсаров.

— Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего… Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)… так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали…

— Я не хочу знать, — с испугом перебила его Елена, — зачем вы едете… Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

— Нет, — сказал Инсаров.

— Как?.. — промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.

— Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны, — с легким упреком произнесла Елена. — Помните?

— Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего; а теперь…

— А теперь? — спросила Елена.

— А теперь… А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

— Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович, — начала она. — Но по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

— Нет, и этого я не могу, — промолвил он и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

— Погодите еще немножко, — сказала Елена. — Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас, — прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле. — Я могу вам сказать… хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.

— Я шла к вам.

— Ко мне?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, — прошептала она, — вот… я сказала.

— Елена! — вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит… чего ж еще?» Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» — шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза…

А она не плакала; она твердила только: «О мой друг, о мой брат!»

— Так ты пойдешь за мною всюду? — говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями.

— Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

— Знаю.

— Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне… что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

— Знаю, все знаю… Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать…

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какою-то детскою радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы…

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.

Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза.

— Так здравствуй же, — сказал он ей, — моя жена перед людьми и перед Богом!

XIX

Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантильей в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развились, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость: да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Увар Иванович сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

— Чему? — спросил он, удивившись.

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича.

— Плашмя!.. — промолвила она наконец.

Но Увар Иванович даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

— Милый Увар Иванович, — проговорила она, — я спать хочу, я устала, — и она опять засмеялась и упала на кресло возле него.

— Гм, — крякнул Увар Иванович и заиграл пальцами. — Это, надо бы, да…

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я скоро должна расстаться… и странно: нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления… Нет, мамаши жалко!» Потом опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастия лежала и на нем. Вспомнилась ей старушка нищая. «Точно, унесла она мое горе, — подумала она. — О, как я счастлива! как незаслуженно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны и мягки; куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Вошла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с какой нежностью она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волос, уже

слегка поседелых! Потом она отправилась в свою комнатку: как там ей все улыбнулось! С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кроватку, на ту самую кроватку, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновения! «А ведь уж я тогда знала, что он меня любит, — подумала она, — да и прежде… Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена…» — прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивее. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени; с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кунцева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее, как только она появилась; она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его проницательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенев и передал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала, что покраснела; она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть ее тайны; она спасалась под его крылышко от Шубина, который все продолжал посматривать на нее — не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находило недоумение: он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастию ее, между ним и Шубиным завязался спор об искусстве; она отодвинулась и словно сквозь сон слушала их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей как бы сном — все: и самовар на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие ногти Зои, и масляный портрет великого князя Константина Павловича на стене: все уходило,

все покрывалось дымкой, все переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» — думала она.

— Ты спать хочешь, Леночка? — спросила ее мать.

Она не слышала вопроса матери.

— Полусправедливый намек, говоришь ты?.. — Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены. — Помилуй, — продолжал он, — в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние — это не по-христиански; к несправедливому человек равнодушен — это глупо, а от полусправедливого он и досаду чувствует и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек, ась?

— Ах, мсье Поль, — проговорила Елена, — я бы хотела показать вам мою досаду, да право, не могу. Я очень устала.

— Что ж ты не ляжешь? — промолвила Анна Васильевна, которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать других. — Простись со мной да ступай с Богом. Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до двери.

— Елена Николаевна, — шепнул он ей на пороге, — вы топчете мсье Поля, вы безжалостно ходите по нем, а мсье Поль благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку — не ту, которую целовал Инсаров, — и, вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном… Так даже дети не спят: так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.

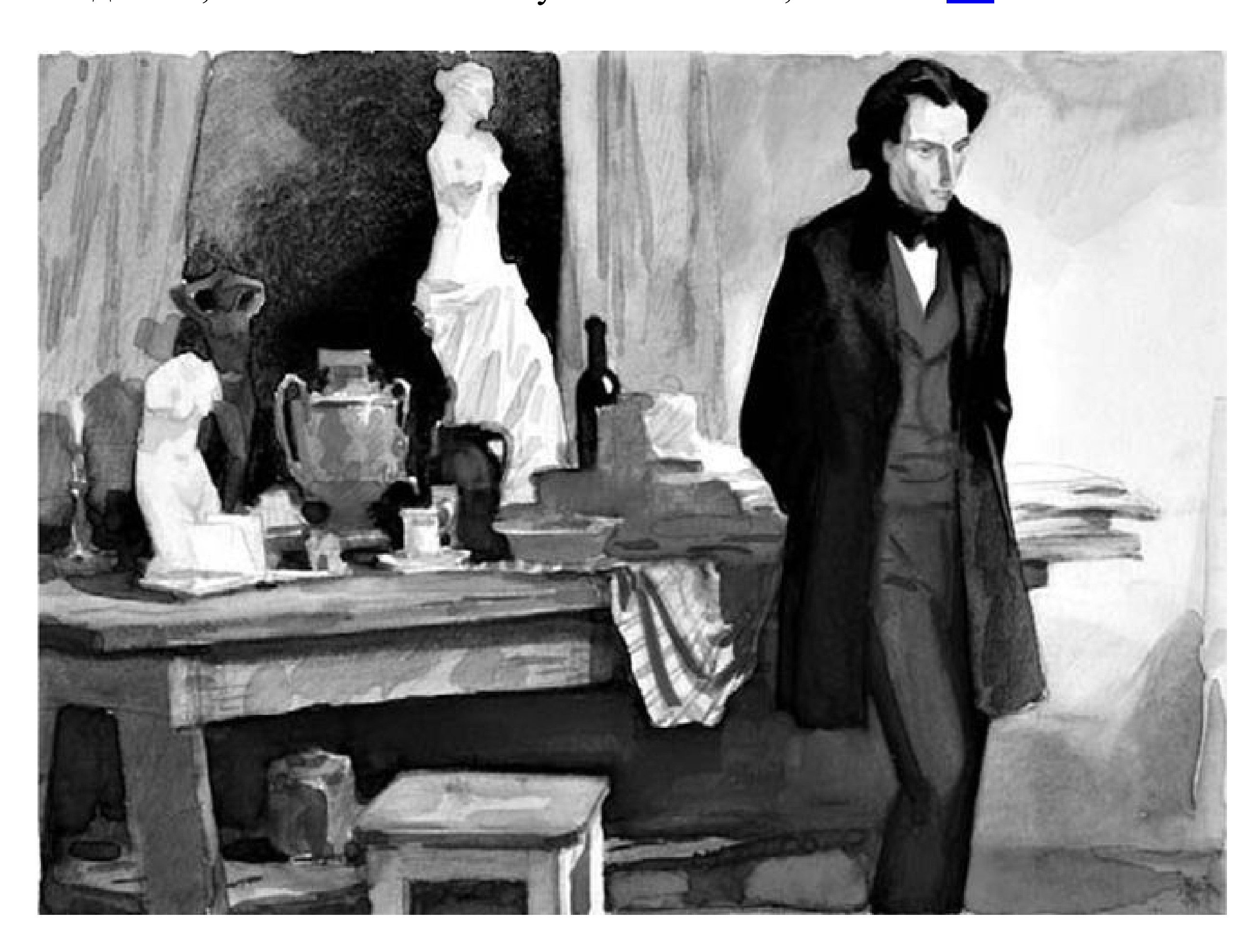
XX

— Зайди ко мне на минутку, — сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной, — у меня есть кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

— Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, — заметил он Шубину.

— Что-нибудь надобно ж делать, — ответил тот. — Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством. Trema, Bisanzia![38]



— Я тебя не понимаю, — проговорил Берсенев.

— А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер первый.

Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенев пришел в восторг.

— Да это просто прелесть! — воскликнул он. — Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение местью?

— А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегорию? Мы не слепые, мы видим, что около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.

— А вот, — прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку, — так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, номера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а просто en canaille[39].



Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться.

— Что? забавно? — промолвил Шубин, — узнал ироя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю… Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленце!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.

Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.

— Ох ты, великодушный, — начал Шубин, — кто бишь в истории считается особенно великодушным? Ну, все равно! А теперь, —

продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины, — ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взирай!

Полотно взвилось, и Берсенев увидел две, рядом и близко поставленные, точно сросшиеся, головы… Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром, с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.

Берсенев отвернулся с отвращением.

— Какова двоешка, брат? — промолвил Шубин. — Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой — как ты думаешь? — «Будущность художника Павла Яковлева Шубина…» Хорошо?

— Перестань, — возразил Берсенев. — Стоило терять время на такую… — Он не тотчас подобрал подходящее слово.

— Гадость? — хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.

— Именно гадость, — повторил Берсенев. — Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастию, так обильно одарены наши артисты. Ты просто наклеветал на себя.

— Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин. — Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата… одна особа. Ты знаешь ли, — прибавил он, трагически нахмурив брови, — что я уже пробовал пить?

— Врешь?!

— Пробовал, ей-богу, — возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел, — да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Лущихин — Харлампий Лущихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка — объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.

Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.

— Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.

Берсенев засмеялся.

— В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, — промолвил он, — и да здравствует вечное, чистое искусство!

— Да здравствует! — подхватил Шубин. — С ним и хорошее лучше и дурное не беда!

Приятели крепко пожали друг другу руки и разошлись.

XXI

Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? неужели?» — спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастия. Воспоминания нахлынули на нее… она потонула в них.

Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней — казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего, — думала она, — Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед Богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело… Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее, — по крайней мере так чудилось ей, — недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, — думала она, — моя семья, моя родина…» — «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», — твердил ей другой голос.

Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение… То ли она обещала? Не скоро она совладела с собою. Но прошла неделя, другая… Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту — она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого… Но вместо его, в одно прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.

XXII

Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе — вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения — он ничего не отвечал ей; явился Увар Иванович — он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных, породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s’il vous plaît»[40], и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame, restez, je vous prie»[41].

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.

— Что такое! — воскликнула она, как только дверь затворилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.

— Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? — начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове. — Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

— Кто такой?

— Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.

— Он будет сегодня у нас обедать?

— Да.

— И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?

Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический.

— Вас это удивляет? Погодите удивляться.

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

— Я желала бы, — заговорила она…

— Я знаю, вы меня всегда считали за «имморального» человека, — начал вдруг Николай Артемьевич.

— Я! — с изумлением пробормотала Анна Васильевна.

— И, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию («серые лошади!» — промелькнуло в голове Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей конституции…

— Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.

— C’est possible[42]. Во всяком случае, я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею радеть о… о пользах вверенного мне… вверенного мне семейства.

«Что все это значит?» — думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что накануне, в английском клубе, в углу диванной, поднялось прение о неспособности русских произносить *спичи*. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь?» — воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например», — отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия.)

— Например, — продолжал Николай Артемьевич, — дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей наконец ступить твердой стопою на стезю… выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то черногорцев и сделаться как все.

— Как я должна понять ваши слова? — спросила Анна Васильевна.

— А вот извольте выслушать, — отвечал Николай Артемьевич все с тем же опусканием губ. — Скажу вам прямо, без обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком — господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием.) Образования отличного, он правовед, манеры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллежский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех pères de comedie[43], которые бредят одними чинами; но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец.

— А кто его отец? — спросила Анна Васильевна.

— Отец его? Отец его тоже известный в своем роде человек, нравственности самой высокой, un vrai stoi'cien[44], отставной, кажется, майор, всеми имениями графов Б… управляет.

— А! — промолвила Анна Васильевна.

— А! что: а? — подхватил Николай Артемьевич. — Ужели и вы заражены предрассудками?

— Да я ничего не сказала, — начала было Анна Васильевна…

— Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать… смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят ä bras ouverts[45]. Это не какой-нибудь черногорец.

— Разумеется; надо будет только Ваньку-повара позвать, блюдо приказать прибавить.

— Вы понимаете, что я в это не вхожу, — проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже), отправился

гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.

В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена.

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. „Как она его изучила!“ — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное… и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил, и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило… но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к comme il faut[46] он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мной он

был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках…

— Я понимаю, — сказал он, — что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула.

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:

— Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д…. а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: „Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница; там настоящий, живой, жизнью данный идеал; а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания“. Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить нельзя*.

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге… Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь…

О мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно

тебя вижу, слышу… Я жду тебя, только не у нас, как ты было хотел, — представь, как нам будет тяжело и неловко! — а знаешь, где я тебе писала — в той роще… О мой милый! Как я тебя люблю!»

XXIII

Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съезжала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов *разыгрались* флюсы; Николай Артемьевич, с своей стороны, окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее *пластические позы*, des poses plastiques, описание которых в «Московских ведомостях» сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьевича, несовместным с исполнением его «предначертаний». Последние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям; в другие дни он был занят. Он приезжал, собственно, для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «Das ist ein Mann!»[47] — думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести: «я имел чес-*с*-ть» или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной; Берсенев несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств русскими войсками[48] волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние

надежды — все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и *его* надежды сбывались. «Но не рано ли? не напрасно ли? — думал он, стискивая руки. — Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась — и в комнату вошла Елена.

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

— Ты меня не ждал? — заговорила она, едва переводя дух. (Она быстро взбежала по лестнице.) — Милый! милый! — Она положила ему обе руки на голову и оглянулась. — Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня переехали. Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить; радость его душила. Она с улыбкой глядела ему в глаза… в них было столько счастия… Она застыдилась.

— Постой, — сказала она, ласково отнимая у него руки, — дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее как очарованный.

— Сядь же, — проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему на место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол, у ее ног.

— На, сними с меня перчатки, — промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно.

Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.

Елена вздрогнула и хотела отслонить его другой рукою, он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась — и губы их слились…

Прошло мгновение… Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет», — и быстро подошла к письменному столу.



— Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, — проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной. — Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.

— Эти письма? — промолвил он, вставая с полу. — Ты можешь их прочесть.

Елена повертела их в руке.

— Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти… Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не по-русски, — прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо.

— Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они меня зовут.

— Теперь? Туда?

— Да… теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.

— Ведь ты меня возьмешь с собой?

Он прижал ее к сердцу.

— О моя милая девушка, о моя героиня, как ты произнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою… И куда же!

Она зажала ему рот.

— Тсс… или я рассержусь и никогда больше не приду к тебе. Разве не все решено, не все кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

— Жены не идут на войну, — промолвил он с полупечальной улыбкой.

— Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?

— Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы… через две недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ.

— Что же такое? — перебила Елена. — Ты должен скоро уехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.

— Так пусть же Бог накажет меня, — воскликнул он, — если я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!

— Я остаюсь? — спросила Елена.

— Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать; надо хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт…

— Деньги у меня есть, — перебила Елена, — восемьдесят рублей.

— Ну, это не много, — заметил Инсаров, — а все годится.

— Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши… Нет, я у ней просить не буду… Да можно часы продать… У меня серьги есть, два браслета… кружево.

— Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с этим быть?

— Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?

— Непременно.

Елена усмехнулась.

— Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще маленькая… У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас… а все-таки все ее величали: Татьяна-беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая, как она.

— Елена, как тебе не стыдно!

— А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если нельзя…

— Это мы всё уладим после, после, погоди, — промолвил Инсаров. — Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.

— О Дмитрий! как нам весело будет ехать вдвоем!

— Да, — сказал Инсаров, — а там, куда мы приедем…

— Что ж? — перебила Елена, — разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

— Двадцать шесть.

— А мне двадцать. Еще много времени впереди. А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

— Елена, ты знаешь, что заставляло меня удаляться.

— Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?

— Честью клянусь, Елена, нет.

Она быстро и неожиданно его поцеловала.

— Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.

— Ты не можешь больше остаться? — спросил Инсаров.

— Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной? Четверть часа давно минуло. — Она надела мантилью и шляпу. — А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянуто, скучно, да делать нечего: по крайней мере, увидимся. Прощай. Выпусти меня. — Он обнял ее в последний раз. — Ай! смотри, ты мою цепочку

сломал. О мой неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пройду на Кузнецкий мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком мосту. — Она взялась за ручку двери. — Кстати, я тебе и забыла сказать: мусье Курнатовский, вероятно, на днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему… вот что. — Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе. — Прощай. До свидания. Теперь я дорогу знаю… А ты не теряй времени…

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившеюся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь? — думал он. — Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть молодого девственного тела.

XXIV

Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно для него не предстояло никаких препятствий: стоило вытребовать паспорт, — но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям… «Они тогда отпустят нас, — думал он. — А если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться… если… Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решился посоветоваться (разумеется, никого не называя) с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвету, глазками; выслушал и потребовал «большей определительности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенёнзами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас, — прибавил он, нюхая табак над раскрытою табакеркою, — прибудет доверчивости и убудет недоверчивости (он говорил на о). А паспорт, — продолжал он как бы про себя, — дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина, или же Каролина Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье; Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво-небрежным

любопытством; Шубин обошелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным, и вооружилась заранее. Она не ошиблась: Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

— Ну что? — спросила она его вдруг, — план ваш подвигается.

Инсаров смутился.

— Какой план? — проговорил он.

— А вы забыли? — ответила она, смеясь ему в лицо: он один мог понять значение этого счастливого смеха. — Ваша болгарская хрестоматия для русских?

— Quelle bourde![49] — пробормотал сквозь зубы Николай Артемьевич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться: он чувствовал себя нездоровым. Явился Курнатовский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инсаров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал — и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался

жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Поделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту», — и попытался заснуть… Но уже недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом… Что это? Старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне… «Каролина Фогельмейер», — бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево… Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки, пирожки», — а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо… Елена!.. И все исчезло в багровом хаосе.

XXV

— К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль, какой, — говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с барином и скептическим направлением ума, — хочет вас видеть.

— Позови, — промолвил Берсенев.

Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров.

— Что ты? — спросил он его.

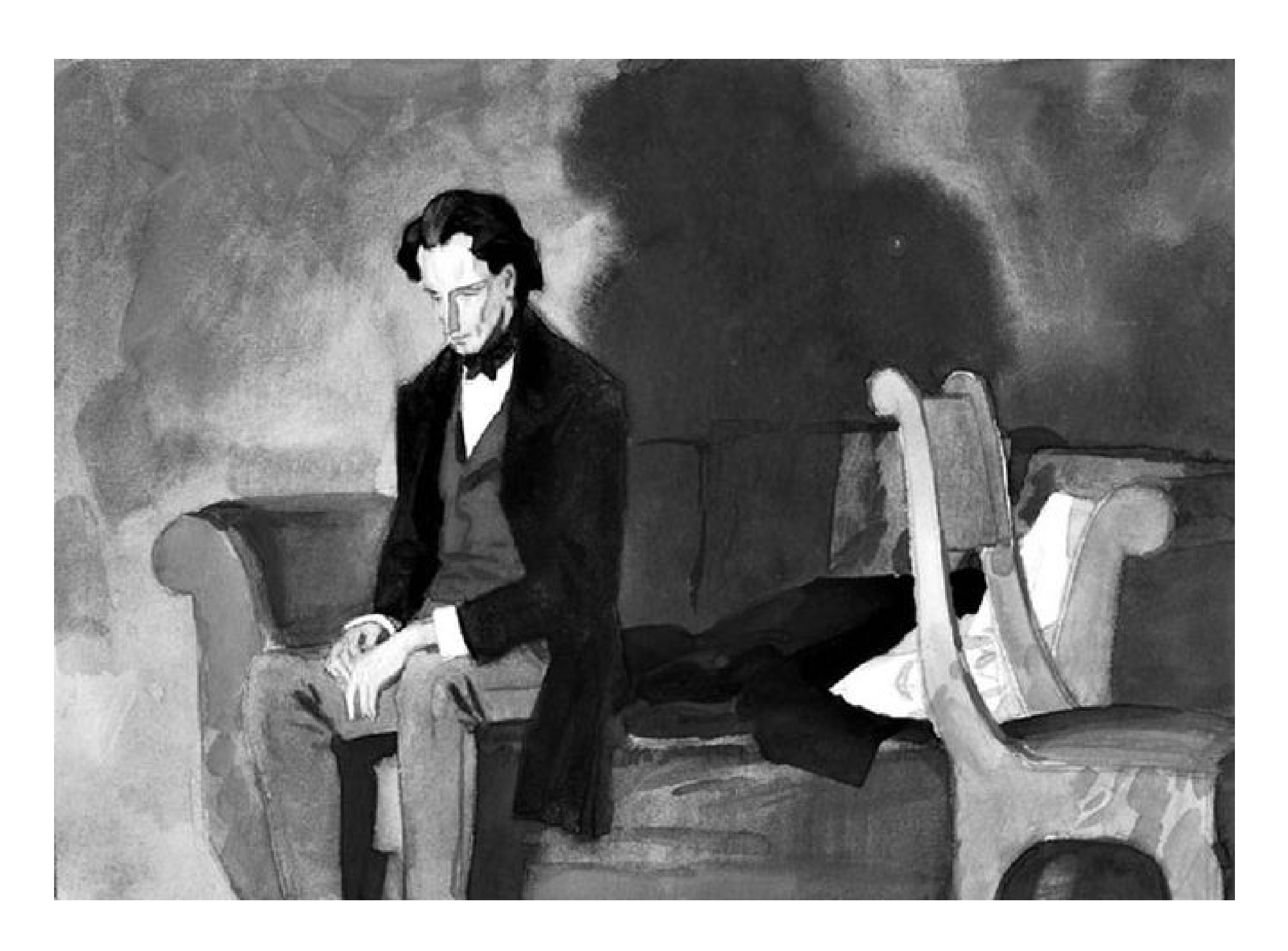
— Я к вашей милости, — начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правою рукой с захваченным тремя последними пальцами обшлагом. — Наш жилец, кто его знает, оченно болен.

— Инсаров?

— Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, Боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет, того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. Потому как он один; да хозяйка мне говорит: «Сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то есть…

Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руку целковый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспамятстве, не раздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенесть на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пиявки, мушки, каломель и велел пустить кровь.



— Он опасен? — спросил Берсенев.

— Да, очень, — отвечал доктор. — Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы всё сделаем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.

Берсенев остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся человек, который стал им говорить, что надо было делать. Явился фельдшер — и начались медицинские истязания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил: «Я, кажется, нездоров?» — посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять забылся. Берсенев поехал домой, переоделся, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере на первое время. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил

местечко около диванчика. Невесело и нескоро прошел день. Берсенев отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шепот, то зевок, то вздох… Кто-то у них чихнул, и его шепотом побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном да тоскливым метанием головы по подушке… Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке, — человека, которого, он это знал, любила Елена… Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева! А теперь… «Что мне теперь делать? — спрашивал он самого себя. — Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня все ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудами бумаг… «Исполнит ли он свои замыслы? — подумал Берсенев. — Неужели все исчезнет?» И жалко ему становилось молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти…

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько раз вставал Берсенев с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна…» Берсенев вздрогнул и посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки лежали бессильно… «Я не хочу», — повторил он едва слышно.

Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал новые лекарства.

— Еще далеко до кризиса, — сказал он, надевая шляпу.

— А после кризиса? — спросил Берсенев.

— После кризиса? Исход бывает двоякий: aut Caesar, aut nihil[50].

Доктор уехал. Берсенев прошелся несколько раз по улице: ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и взялся за книгу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота[51].

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновению, тяжелым платком.

— Здесь, — заговорила она вполголоса, — та барышня, что тогда мне гривенничек…

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на месте ее появилась Елена.

Берсенев вскочил как ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула… Казалось, она все поняла в одно мгновение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к ширмам, заглянула за них, всплеснула руками и окаменела. Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенев остановил ее.

— Что вы делаете? — проговорил он трепещущим шепотом. — Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.

Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом, потом уставилась на пол.

— Он умирает? — спросила она так холодно и спокойно, что Берсенев испугался.

— Ради Бога, Елена Николаевна, — начал он, — что вы это? Он болен, точно, — и довольно опасно… Но мы его спасем; за это я вам ручаюсь.

— Он без памяти? — спросила она так же, как в первый раз.

— Да, он теперь в забытьи… Это всегда бывает в начале этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. Выпейте воды.

Она подняла на него глаза, и он понял, что она не слышала его ответов.

— Если он умрет, — проговорила она все тем же голосом, — и я умру.

Инсаров в это мгновение простонал слегка; она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы.

— Что это вы делаете? — спросил ее Берсенев.

Она не отвечала.

— Что вы делаете? — повторил он.

— Я остаюсь здесь.

— Как… надолго?

— Не знаю, может быть, на весь день, на ночь, навсегда… не знаю.

— Ради Бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки… предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, вас могут хватиться дома…

— И что же?

— Вас будут искать… Вас найдут…

— И что же?

— Елена Николаевна! Вы видите… Он вас теперь защитить не может.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающею силою внезапно исторглись из ее груди… Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка.

— Елена Николаевна… ради Бога… — твердил над ней Берсенев.

— А? Что такое? — раздался вдруг голос Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсенев так и замер на месте… Погодя немного он подошел к постели… Голова Инсарова по-прежнему бессильно лежала на подушке; глаза были закрыты.

— Он бредит? — прошептала Елена.

— Кажется, — отвечал Берсенев, — но это ничего; это тоже всегда так бывает, особенно если…

— Когда он занемог? — перебила Елена.

— Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него; все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

— Он умрет без меня, — воскликнула она, ломая руки.

— Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни, и если бы наступила действительно опасность…

— Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною когда бы то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне… Мне все равно теперь. Слышите ли вы? обещаетесь ли вы это сделать?

— Обещаюсь, перед Богом.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

— Елена Николаевна… что вы это, — пролепетал он.

— Нет… нет… не надо… — произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул.

Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго, долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по ее щекам.

— Елена Николаевна, — сказал ей Берсенев, — он может прийти в себя, узнать вас; Бог знает, хорошо ли это будет. Притом же я с часу на час жду доктора…

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала…

— Я не могу уйти, — прошептала она наконец.

Берсенев пожал ей руку.

— Соберитесь с силами, — промолвил он, — успокойтесь; вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила: «О, мой добрый друг!» — зарыдала и бросилась вон.

Берсенев прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» — подумал он и повел плечом.

— Кто здесь? — послышался голос Инсарова.

Берсенев подошел к нему.

— Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?

— Один? — спросил больной.

— Один.

— А она?

— Кто она? — проговорил почти с испугом Берсенев.

Инсаров помолчал.

— Резеда, — шепнул он, и глаза его опять закрылись.

XXVI

Инсаров целых восемь дней находился между жизнию и смертию. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин услышал об опасном положении Инсарова и навестил его; явились его соотечественники — болгары; в числе их Берсенев узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление своим нежданным посещением на даче; все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсеневу сменить его у постели больного; но он не соглашался, помня обещание, данное Елене. Он каждый день ее видел и украдкой передавал ей — иногда на словах, иногда в маленькой записочке — все подробности хода болезни. С каким сердечным замиранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала! Она сама все порывалась к Инсарову, но Берсенев умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала об его болезни, она сама чуть не занемогла; она, как только вернулась, заперлась у себя в комнате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет, — твердила она, — и меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушною. Впрочем, никто ее слишком не тревожил: Анна Васильевна возилась со своими флюсами; Шубин работал с остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась прочесть «Вертера»[52]; Николай Артемьевич очень был недоволен частыми посещениями «школяра», тем более что его «предначертания» насчет Курнатовского подвигались туго: практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое свидание с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум), только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте», — сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет, — промолвил он, — подождемте еще до завтра». К вечеру Инсарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее

членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня как свечка тает», — говорила о ней ее горничная.

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена сидела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая, что делала, читала ей «Московские ведомости»; Берсенев вошел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и проницателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей: она приподнялась ему навстречу.

— Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров, — шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ничего не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенев заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить Бога… Легкие, светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» — и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

XXVII

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате; Берсенев переехал к себе на квартиру; но он каждый день заходил к своему, все еще слабому, приятелю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Берсенев, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды — Берсенев только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет, — она задумалась, потупилась…

— Угадайте, что я хочу сказать вам, — промолвила она.

Берсенев смутился. Он ее понял.

— Вероятно, — ответил он, глянув в сторону, — вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть.

Елена покраснела и едва слышно произнесла:

— Да.

— Так что ж? Это вам, я думаю, очень легко. «Фи! — подумал он, — какое у меня гадкое чувство на сердце!»

— Вы хотите сказать, что я уже прежде… — проговорила Елена. — Но я боюсь… теперь он, вы говорите, редко бывает один.

— Этому нетрудно помочь, — возразил Берсенев, все не глядя на нее. — Предуведомить я его, разумеется, не могу; но дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему как хорошему знакомому, в котором вы принимаете участие? Тут ничего нет предосудительного. Назначьте ему… то есть напишите ему, когда вы будете…

— Мне совестно, — шепнула Елена.

— Дайте записку, я отнесу.

— Это не нужно, а я хотела вас попросить… Не сердитесь на меня, Андрей Петрович… не приходите завтра к нему.

Берсенев закусил губу.

— А! да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. — И, прибавив два-три слова, он быстро удалился.

«Тем лучше, тем лучше, — думал он, спеша домой. — Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: „Мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!“»

На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записку. «Жди меня, — писала ему Елена, — и вели всем отказывать. А. П. не придет».

XXVIII

Инсаров прочел записку Елены — и тотчас же стал приводить свою комнатку в порядок, попросил хозяйку унести стеклянки с лекарством, снял шлафрок, надел сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого, — сказал он самому себе, — раньше двенадцати она никак прийти не может, буду думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не может…»

Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь.

— Ты жив, ты мой, — твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастия.

Она села возле него, и прижалась к нему, и стала глядеть на него тем смеющимся, и ласкающим, и нежным взглядом, который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.

— Как ты похудел, мой бедный Дмитрий, — сказала она, проводя рукой по его щеке, — какая у тебя борода!

— И ты похудела, моя бедная Елена, — отвечал он, ловя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

— Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.

— Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят? Я наперед всякий раз знала, что мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам.

— Еще что я заметила, — продолжала она, откидывая назад его волосы, — (я много делала замечаний все это время, на досуге), — когда человек очень, очень несчастлив, — с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и ужас! Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не правда ли?

— Ты для меня впереди, — ответил Инсаров, — для меня светло.

— А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не в последний раз… нет, не в последний раз, — повторила она с невольным содроганием, — а когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь?

— Мне гораздо лучше, я почти здоров.

— Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

— Елена? — спросил ее Инсаров.

— Что, мой милый?

— Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?

Елена серьезно взглянула на него.

— Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но я подумала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против тебя виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя…

— Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.

— Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой… Это мой долг. Я тебя люблю… другого долга я не знаю.

— О Елена! — промолвил Инсаров, — какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!

— Зачем говорить о цепях? — подхватила она. — Мы с тобой вольные люди. Да, — продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы, — многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить? к молодому человеку на квартиру, — какое я почувствовала

бы негодование! И это все сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу! — прибавила она и обернулась к Инсарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

— Дмитрий! — начала она снова, — ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти…

— Ты меня видела?

— Да.

Он помолчал.

— И Берсенев был здесь?

Она кивнула головой.

Инсаров наклонился к ней.

— О Елена! — прошептал он, — я не смею глядеть на тебя.

— Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя… А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

— Он меня спас! — воскликнул Инсаров. — Он благороднейший, добрейший человек!

— Да… И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть… Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.

— Он влюблен в тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

— Он меня любил, — проговорила она вполголоса.

Инсаров крепко стиснул ей руку.

— О вы, русские, — сказал он, — золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи… И ты, ты, мой ангел… Ни упрека, ни колебания… И это всё мне, мне…

— Да, да, всё тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, — но все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать, — когда я тебя увидала в первый раз…

— Отчего у тебя на глазах слезы? — перебил ее Инсаров.

— У меня? слезы? — Она утерла глаза платком. — О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела сказать: когда я

увидала тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича, — о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты — ничего; зато… потом… потом… так ты у меня сердце обеими руками и взял!

— Пощади меня… — проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

— Что с тобой? — заботливо спросила Елена.

— Ничего… я еще немного слаб… Мне это счастье еще не по силам.

— Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь, — прибавила она, грозя ему пальцем. — И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду… Она говорила все это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо…

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея… он несколько раз хотел остановить ее — и вдруг выпрямился.

— Елена, — сказал он ей каким-то странным и резким голосом, — оставь меня, уйди.

— Как? — промолвила она с изумлением. — Ты дурно себя чувствуешь? — прибавила она с живостью.

— Нет… мне хорошо… но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты делаешь? — проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам. — Не делай этого, Дмитрий… Дмитрий…

Он приподнялся.

— Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой… И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты… ты…

возле меня, у меня… твой голос, твое дыхание… Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю… Уйди!

— Дмитрий… — прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

— Елена, — продолжал он, — я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя… Зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собою, когда вся кровь моя зажжена… Ты моя, говоришь ты… меня любишь…

— Дмитрий, — повторила она и вспыхнула вся и еще теснее к нему прижалась.

— Елена, сжалься надо мной — уйди, я чувствую, я могу умереть — я не выдержу этих порывов… вся душа моя стремится к тебе… Подумай, смерть едва не разлучила нас… и теперь ты здесь, ты в моих объятиях… Елена…

Она затрепетала вся.

— Так возьми ж меня, — прошептала она чуть слышно…

XXIX

Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.

— Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, — промолвил он, отряхая пепел с сигары. — Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами — шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.

— Вам бы все только балагурить, — ответил Николай Артемьевич. — Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу… Что она может делать в Ревеле?

— Должно быть, чулки вяжет… себе; себе — не вам.

— Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие…

— Подала она вексель ко взысканию? — спросил Шубин.

— Это бескорыстие, — повторил, возвысив голос, Николай Артемьевич, — это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: ces femmes — qu’on me les montre![53] И не пишет, вот что убийственно!

— Вы красноречивы, как Пифагор[54], — заметил Шубин, — но знаете ли, что бы я вам присоветовал?

— Что?

— Когда Августина Христиановна возвратится… вы понимаете меня?

— Ну да; что же?

— Когда вы ее увидите… Вы следите за развитием моей мысли?

— Ну да, да.

— Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?

Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.

— Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил…

— Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж не деликатно, согласитесь.

— Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог бы ожидать… Но его так мало умеют ценить в этом доме…

— Что он подумал: «Куда ни шла! — подхватил Шубин, — тесть ли он мне или нет — это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей — хорошо человеку, который взяток не берет».

— Тесть!.. Какой я, к черту, тесть? Vous rêvez, mon cher[55]. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в двух губерниях лямку тер…

— В…ой губернии губернатора за нос водил, — заметил Шубин.

— Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец…

— И в карты хорошо играет, — опять заметил Шубин.

— Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна… Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины…

Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе.

— Отцу нравится жених, — продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем, — а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы все это переменили. Nous avons change tout ça. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает что ей угодно; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже; и все это принято. На днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволила выйти. Куда? Неизвестно. Что это — порядок?

— Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, — промолвил Шубин. — Сами же вы говорите, что не надо devant les domestiques[56], — прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.

— Я хотел сказать, — начал он, как только лакей вышел, — что я ничего в этом доме не значу. — Вот и всё. Потому, в наше время все

судят по наружности; иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит, — его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы… могли бы принести великую пользу, но по скромности…

— Вы государственный человек, Николенька? — спросил Шубин тоненьким голоском.

— Полноте паясничать! — воскликнул с сердцем Николай Артемьевич. — Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!

— Анна Васильевна вас притесняет… бедненький! — проговорил, потягиваясь, Шубин. — Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.

— Да, да, — торопливо ответил Николай Артемьевич, — очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот есть у меня вещица: фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?



— Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

— То есть… я… да… я думал…

— Ну, в таком случае, наверное, годится.

Шубин поднялся со стула.

— Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? — спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза.

— Да ведь вы в клуб поедете.

— После клуба… после клуба.

Шубин опять потянулся.

— Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза. — И он вышел.

Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в

щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною: он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе.



— Ты зачем? — спросил он его.

— Николай Артемьевич! — проговорил не без некоторой торжественности лакей, — вы наш барин!

— Знаю: что же дальше?

— Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должон вашей милости донести…

— Да что такое?

Лакей помялся на месте.

— Вы вот изволите говорить, — начал он, — что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.

— Что ты врешь, дурак?!

— Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти.

— Где? что? какой дом?

— В…м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?

Николай Артемьевич затопал ногами.

— Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты… Вон, дурак!

Испуганный лакей бросился было к двери.

— Стой! — воскликнул Николай Артемьевич. — Что тебе дворник сказал?

— Да ни… ничего не сказал. Говорит, сту… студент.

— Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься…

— Помилуйте-с…

— Молчать! если ты хоть пикнешь… если кто-нибудь… если я узнаю… Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь! Убирайся!



Лакей исчез.

«Господи, Боже мой! Что это значит? — подумал Николай Артемьевич, оставшись один, — что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle humiliation!»[57]

И, повторив громко: «Un laquais!», Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

XXX

Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась. Турция объявила России войну[58]; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома[59]. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда… «Маменька плачут, — шепнула она вслед уходившей Елене, — а папенька гневаются…»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Ар темьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком твердом галстуке и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорил жене *вы*, дочери — в экстраординарных случаях.)

Елена села.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука.

— Я вас призвал, Елена Николаевна, — начал он после продолжительного молчания, — с тем, чтоб объясниться с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение

огорчает, оскорбляет меня — меня и вашу мать… вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну — и побледнела.

— Было время, — начал снова Николай Артемьевич, — когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению; так, по крайней мере, думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие… не позволяющие… словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют.

— Но, папенька, — начала было Елена…

— Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли изо всех этих попечений, этих издержек — это другой вопрос; но я имел право думать… мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые… которые мы вам, как нашей единственной дочери… que nous vous avons inculqués, которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту… но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь…

— Папенька, — проговорила Елена, — я знаю, что вы хотите сказать…

— Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! — вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам, — ты не знаешь, дерзкая девчонка!

— Ради Бога, Nicolas, — пролепетала Анна Васильевна, — vous me faites mourir[60].

— Не говорите мне этого, que je vous fais mourir[61], Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что вы сейчас услышите, — приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.

— Нет, — продолжал Николай Артемьевич, обратившись к Елене, — ты не знаешь, что я хочу сказать!

— Я виновата перед вами, — начала она…

— А, наконец-то!

— Я виновата перед вами, — продолжала Елена, — в том, что давно не призналась…

— Да ты знаешь ли, — перебил ее Николай Артемьевич, — что я могу уничтожить тебя одним словом?

Елена подняла на него глаза.

— Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом в…м переулке, возле Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, des vils laquais[62] видели вас, как вы входили туда, к вашему…

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблистали.

— Мне незачем хитрить, — промолвила она, — да, я посещала этот дом.

— Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?

— Да, знаю: мой муж…

Николай Артемьевич вытаращил глаза.

— Твой…

— Мой муж, — повторила Елена. — Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым.

— Ты?.. замужем?.. — едва проговорила Анна Васильевна.

— Да, мамаша… Простите меня… Две недели тому назад мы обвенчались тайно.

Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич отступил на два шага.

— Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе… что ты… что… В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.

— Николай Артемьевич, ради Бога, — простонала Анна Васильевна.

— И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? Боже мой! Что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эдакого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побоялась… грома небесного?

— Папенька, — проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд), — вы вольны делать со мною все что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела… огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.

— Уезжаете? Куда это?

— На его родину, в Болгарию.

— К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.

Елена бросилась к матери.

— Прочь! — возопил Николай Артемьевич и схватил дочь за руку, — прочь, недостойная!

Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показалась бледная голова с сверкающими глазами; то была голова Шубина.

— Николай Артемьевич! — крикнул он во весь голос. — Августина Христиановна приехала и зовет вас!

Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.

Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.

Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупною запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.

— Да, — задумчиво говорил он, — она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные, — кучера всё слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не

подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаном; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Увар Иванович поиграл пальцами.

— Мать, — проговорил он, — ну… и того.

— Племянник ваш, — продолжал Шубин, — грозится и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.

— Права… не имеют, — заметил Увар Иванович и отпил из кружки.

— Так, так. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! Она их не испугалась… Впрочем, она выше их. Уезжает она — и куда? даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж — черт знает, язык как-то не поворачивается на это слово, — говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях, лицо, хоть сейчас лепи с него Брута[63]… Вы знаете, кто был Брут, Увар Иванович?

— Что знать? Человек.

— Именно: «Человек он был». Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

— Сражаться-то… все равно, — проговорил Увар Иванович.

— Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться, да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.

— Дело молодое, — отозвался Увар Иванович.

— Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!

Шубин уронил голову на грудь.

— Да, — продолжал он после долгого молчания, — Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров… Инсаров… К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве Бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?

Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.

— Далека песня, — проговорил он наконец, с обычной игрой пальцев, — о других речь, а ты… того… о себе.

— О великий философ земли русской! — воскликнул Шубин. — Каждое ваше слово — чистое золото, и не мне — вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы? — так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожное переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

— Дай срок, — ответил Увар Иванович, — будут.

— Будут? Почва! черноземная сила! ты сказал: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

— Спать хочу, прощай.

XXXI

Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать — погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen — und wem?»[64] Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось довольно часто: Августина Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери — и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.

— Мамаша, милая мамаша! — твердила она, целуя ее руки, — что же было делать? Я не виновата, я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу: она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас.

— Ох! — перебивала ее Анна Васильевна, — не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится!

— Милая мамаша, — отвечала Елена, — утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

— Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом (Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр), либо я не перенесу разлуки…

— Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, Бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

— Какие там города! Там война теперь идет; теперь там, я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют… Скоро ты ехать собираешься?

— Скоро… если только папенька… Он хочет жаловаться, он грозится развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.

— Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания… Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор — и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипыванья — и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро… Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

— Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать… бросить нас.

— Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? — спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.

— Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника… Перед отъездом успеем.

— Перед отъездом, — печально повторила Елена.

Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали, — промолвил он с притворною небрежностию, — дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» — и спросил его, в чем он играет?

XXXII

А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат, — говорил он ему, — вы здесь не поправитесь». Нетерпение томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала наконец увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностию ожидал ее первого слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла наконец глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович…» — и остановилась: упреки замерли на ее устах.

— Да вы больны, — воскликнула она. — Елена, он у тебя болен!

— Я был нездоров, Анна Васильевна, — ответил Инсаров, — и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.

— Да… Болгария! — пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка — и она его жена, она его любит… да это сон какой-то…» Но она тотчас же спохватилась. — Дмитрий Никанорович, — проговорила она, — вы непременно… непременно должны ехать?

— Непременно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрела на него.

— Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю… Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее… Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!

Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.

* * *

Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброго барина»: он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» — и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

— Собралось опять наше трио, — заговорил он, — в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром — и с Богом на новую жизнь! «С Богом, в дальнюю дорогу»[65], — запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим… но все-таки умирало.

— Ну, Елена, — начал Инсаров, обращаясь к жене, — кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.

— Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, — заметил Инсаров.

Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься… «Прощай, наша комнатка!» — воскликнул он.



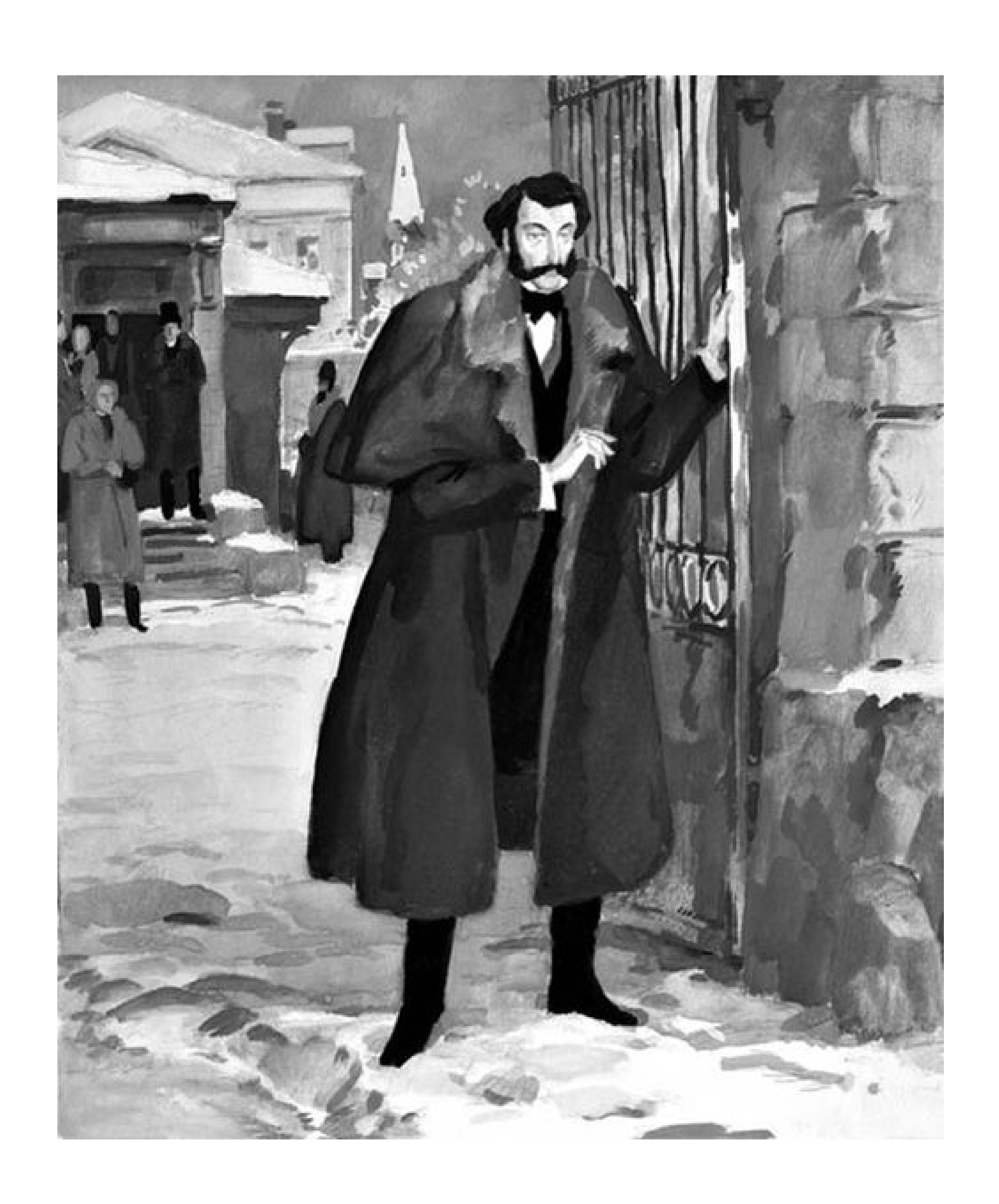
Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова…

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате — все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.

— Застал еще, слава Богу, — воскликнул он и подбежал к повозке. — Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение, — сказал он, нагнувшись под балчуг, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.



— Ну! — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, — надо проводить… и пожелать… — Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. — Дай Бог вам… — начал Николай Артемьевич, и не мог договорить — и выпил вино; те тоже выпили. — Теперь вам бы следовало, господа, — прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. — Смотри ж, пиши нам, — говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» — и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо — и исчезла.



XXXIII

Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну[66], все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

Гондола пристала ко внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.



— Какое унылое место! — заметила Елена. — Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.

— Холодно! — возразил с быстрою, но горькою усмешкой Инсаров. — Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда… я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, — прибавил он, протянув руку на восток. — Вот и ветер оттуда тянет.

— Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? — сказала Елена. — Вон белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел на морскую даль, куда показывала ему Елена.

— Рендич обещался через неделю все нам устроить, — заметил он. — На него, кажется, положиться можно… Слышала ты, Елена, — прибавил он с внезапным одушевлением, — говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, — ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются, — на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с

радостию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

— Aufgepasst![67] — крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их… Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.

— Он не виноват, — промолвила Елена, — ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.

— Он не виноват, — возразил Инсаров, — да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.

— Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

— Хочешь? — продолжала Елена, — покатаемся по Canal Grande[68]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда… Хочешь?

— Ты этого хочешь, Елена, — отвечал Инсаров, — стало быть, и я этого хочу.

— Я это знала, — заметила с улыбкой Елена. — Пойдем, пойдем.

Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу — Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно

дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название *Прекрасной*. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», — говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти[69], ни Гварди[70] (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni[71], Дворец дожей, Пиаццетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою; в лазури ее неба стояло одно темное облачко — и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle arti[72] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей — англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторе-та, прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского «Вознесения» и

воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна — прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно Бога Отца, — поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьями зубами и висячими бакенбардами — и засмеялись; увидали своего гондольера с куцею курткой и короткими панталонами — и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы — и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо — и залились смехом, а как только сели в гондолу — крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и всё требовали от него живых frutti di mare[73]; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: poveretti! (бедняжки!). После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, — «Травиату»[74]. Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в

гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое *тремоло*, они чуть оба не прыснули… Но игра Виолетты подействовала на них.

— Этой бедной девушке почти не хлопают, — сказала Елена, — а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.

— Да, — промолвил он, — она не шутит: смертью пахнет.

Елена умолкла.

Начался третий акт. Занавес поднялся… Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, стклянок с лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое прошедшее… «А будущее? а настоящее?» — мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова… Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и *нашла себя*: редкое, высочайшее счастие для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой fanatismo и перед которой ничто все наши северные завывания… Мгновение — и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом

моленья исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» (Дай мне жить… умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своей рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади Святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым — и, взглянув в последний раз на церковь Св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня Св. Георгия; направо,

высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы — и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия[75]; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как больное крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О Боже! — думала Елена, — зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, — все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? („Morir si giovane“, — зазвучало у нее в душе…) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О Боже! неужели нельзя верить чуду? — Она положила голову на сжатые руки. — Довольно? — шепнула она. — Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни — нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастия. «А если этого нельзя? — подумала она. — Если это не дается даром? Ведь это было небо… а мы люди, бедные, грешные люди… Morir si giovane… О темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»

«Но если это — наказание, — подумала она опять, — если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О Боже, неужели мы так преступны! Неужели Ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата, — прибавила она с невольным порывом, — так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть, по крайней мере, честной, славной смертью — там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» — пролепетал сквозь сон Инсаров.

Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? — шепнула она. — Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет хороший знак…» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.

XXXIV

Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.

— Рендич не приходил? — было его первым вопросом.

— Нет еще, — отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino»[76], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе… Кто-то постучался в дверь.

«Рендич», — подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.

— Вы не узнаёте меня, — заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене. — Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е….х?

— Да, у Е….х, — произнес Инсаров.

— Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича… (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею наконец честь с вами познакомиться. Вообразите, — продолжал он, обратившись к Инсарову, — я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция — поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! Уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: русский ли я? Я ему сказал, что я датчанин… А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший

Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера как сумасшедший бегал по дворцам и по церквам — ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро[77]; так и стоит: «Decapitati pro criminibus»[78]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась — я, вы, может быть, помните, всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии — вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Бай рон[79]: «I stood in Venice on the bridge of sighs»[80]; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапа и Пальмерстон[81]. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрапà! Хотите, я вам дам «Les Châtiments» de Victor Hugo[82] — удивительно! «L'avenir — le gendarme de Dieu»[83] — смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа». Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона[84], у меня всё есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя, так я думаю в Испанию — женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика… А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко…

И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.

Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.

— Вот, — с горечью промолвил он, взглянув на Елену, — вот ваше молодое поколение! Иной и важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России… Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.

— Дмитрий… — начала она.

Он встрепенулся.

— Что? Рендич приехал?

— Нет еще… но как ты думаешь — у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?

— Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем… куда-нибудь.

Прошло два часа… Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.

— Отчего ты не спишь? — спросила она его наконец.

— А вот погоди. — Он взял ее руку и положил ее себе под голову. — Вот так… хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся… Надобно все уложить.

— Уложить недолго, — отвечала Елена.

— Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, — проговорил, спустя немного, Инсаров. — Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя… Будь готова.

Он заснул, и все затихло в комнате.

Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за

люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны… все закружилось, смешалось…

Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она.

— Катя, куда это мы с тобой едем?

Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. Елена, Елена! — слышится голос из бездны.

«Елена!» — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.

— Елена! — произнес он, — я умираю.

Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.

— Все кончено, — повторил Инсаров, — я умираю… Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!..

И он навзничь опрокинулся на диван.

Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камериере бросился за доктором. Елена припала к Инсарову.

В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой

низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

— Рендич! — воскликнула Елена, — это вы! Посмотрите, ради Бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, Боже! Он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною…

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо него проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках: это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову.

— Синьора, — сказал он спустя несколько мгновений, — господин иностранец скончался — il signore forestiere e morto — от аневризма, соединенного с расстройством легких.

XXXV

На другой день, в той же комнате, у окна стоял Рендич; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испуганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две морщинки: они придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев.

— Сколько времени вы должны остаться в Венеции? — спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.

— День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали; на него надеялись.

— На него надеялись, — повторила машинально Елена.

— Когда вы его хороните? — спросил Рендич.

Елена не тотчас отвечала:

— Завтра.

— Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.

— Капитан, — сказала она, — возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?

Рендич задумался.

— Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством. Но положим, мы это все уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

— Вам не нужно будет доставлять меня назад.

— Как? Где же вы останетесь?

— Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите меня.

Рендич почесал у себя в затылке.

— Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду попытаюсь; а вы ждите меня здесь часа через два.

Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать Бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить… Но Елена молиться не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли наконец к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшною силой, и опытные моряки в конторах «Ллойда»[85] качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо:

> «Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мной будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья — и

найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина… Но смерть все прикрывает и примиряет, — не правда ли? Простите мне все огорчения, которые я вам причинила; это было не в моей воле. А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?

Примите мои последние лобзания и благословения и не осуждайте меня.

Е.».

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше об Елене. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Артемьевич, после заключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал то, что уже известно читателю, а в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о Рендиче и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины… По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшею из Венеции; некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже ее наряд, черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение, и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать… сорок… пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась?

Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет.

* * *

Что сталось с остальными лицами нашего рассказа? Анна Васильевна еще жива; она очень постарела после поразившего ее удара,

жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел, и поседел, и расстался с Августиной Христиановной… Он теперь бранит все иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в шелковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и, в качестве энергического брюнета, охотник до миловидных блондинок, женился на Зое; она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гойдельберге; его на казенный счет отправили за границу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени; из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации», жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме; он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят, что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было купить ее за 1000 скуди, но предпочел дать 3000 другому ваятелю, французу pur sang[86], за группу, изображающую «Молодую поселянку, умирающую от любви на груди Гения Весны». Шубин изредка переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изменился. «Помните, — писал он ему недавно, — что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы мне отвечали: „Будут“. О, черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего „прекрасного далека“, снова вас спрашиваю: „Ну, что же, Увар Иванович, будут?“»

Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.

Приложение

Н. А. Добролюбов[87]
Когда же придет настоящий день?
(*«Накануне», повесть И. С. Тургенева. «Русский вестник», 1860, № 1)*

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht.

Heine[88]

‹…›

Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя. В нашей жизни до сих пор нет публичности, кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с официальными лицами, служащими по той или другой части: в присутственных местах — с чистописателями, на балах — с танцорами, в клубах — с картежниками, в театрах — с парикмахерскими пациентами и т. д. Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь; всякий так и смотрит на вас, как будто говорит: «Ведь я сюда пришел, чтоб танцевать или чтоб прическу показать; ну, и будь доволен тем, что я делаю свое дело, и не вздумай, пожалуйста, выпытывать от меня мои чувства и понятия». И действительно — никто никого не выпытывает, никто никем не интересуется, и все общество идет врозь, досадуя, что должно сходиться в официальных случаях вроде новой оперы, званого обеда или какого-нибудь комитетского заседания. Где же тут узнать и

изучить жизнь человеку, не посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов? А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в различных кругах и сословиях нашего общества! Мысли, сделавшиеся в одном круге уже пошлыми и отсталыми, в другом еще жарко оспариваются; что у одних признается недостаточным и слабым, то другим кажется слишком резким и смелым, и т. п. Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества — на это у нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно художественных ее произведений. ‹…›

‹…› В «Накануне» мы видим неотразимое влияние естественного хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображение автора.

‹…› Г-на Тургенева по справедливости можно назвать представителем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество. Мы надеемся при другом случае проследить всю литературную деятельность г. Тургенева и потому теперь не станем распространяться об этом. Скажем только, что этому чутью автора к живым струнам общества, этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике. Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые, единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротив — мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаем, что он не мог бы вызвать общую симпатию публики, если бы касался вопросов и потребностей, совершенно чуждых его читателям или еще не возбужденных в

обществе. Некоторые заметили бы прелесть поэтических описаний в его повестях, тонкость и глубину в очертаниях разных лиц и положений, но, без всякого сомнения, этого было бы недостаточно для того, чтобы сделать прочный успех и славу писателю.‹…›

Итак, мы можем сказать смело, что если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко перед глазами всех.‹…›

‹…› «Что же теперь создаст г. Тургенев?» — думали мы и с большим любопытством принялись читать «Накануне».

Чутье настоящей минуты и на этот раз не обмануло автора. Сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии в лучшей части нашего общества, он решился оставить их и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени…

В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода. Общественная потребность дела, живого дела, начало презрения к мертвым принципам и пассивным добродетелям выразилось во всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу статью, уже прочитал теперь «Накануне».

Поэтому мы вместо рассказа содержания повести представим только коротенький очерк главных ее характеров.

Героиней романа является девушка с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее совершилось очень своеобразно, благодаря особенным обстоятельствам семейным.

Отец и мать ее были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротою и мягкостию сердца. С самого детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг, совершенно свободно; никакой формализм не стеснял

ее. Николай Артемьич Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились необыкновенные способности. Елена, пока была мала, тоже, с своей стороны, обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне для ее приданого, не питал к ней никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина вроде Марьи Дмитриевны «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всем в доме, и, между прочим, даже дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей матери и становилась невольно судьею между ей и отцом. При впечатлительности ее натуры это имело большое влияние на развитие ее внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае, тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей, участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и произнесении суда над ними, Елена рано приучила себя к самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее. Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом очерке есть глубоко верные указания, весьма много объясняющие первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень с старшими, делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки. Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении: от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не

был ни злодеем, ни положительным дураком, ни домашним тираном. Он был только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему инстинктивно, а потом, может, и сознательно, решивши, что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и в матери, и в сердце ее, вместо страстной любви и уважения, осталось лишь чувство сожаления и снисхождения: г. Тургенев очень удачно очертил ее отношения к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней, решил, что она странная, и отступился от нее.

А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития, придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и любви — в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году подружилась она с этой девочкой, тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички (игрушек Катя не брала); сидела с ней по целым часам, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась убежать от своей злой тетки, чтобы жить *на всей Божьей воле*, и сама мечтала о том, как она наденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро умерла, но знакомство с ней не могло не оставить резких следов в характере Елены. К ее чистым, человечным, сострадательным расположениям оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение или, по крайней мере, то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни, которое всегда проникает душу не совсем испорченного человека в виду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждою деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз

удовлетворяться обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала о них всех своих знакомых». Даже «все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл все это пошлым нежничаньем; но Елена не была сентиментальна, потому что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только практически полезную деятельность. Даже стихов она не любила, даже в художестве толку не знала.

Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы, испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия, — для того чтобы приобресть отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена, при всей свободе своего развития, не могла найти достаточно средств для того, чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления. Ей никто не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не стесняли педантизмом систематического ученья, и потому она успела образоваться, не принявши в себя множество предрассудков, неразлучных с системами, курсами и вообще с рутиною образования. Она много и с участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее; оно имело только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами, защита мухи от паука — тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой деятельности; да притом — эти занятия требовали от нее весьма мало усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело. От этого и находилась она

постоянно в какой-то ажитации, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в выражении лица, *внимательном и немного пугливом*, в *ясном, но изменчивом взоре, в улыбке*, как будто *напряженной*, в голосе, *тихом и неровном*, было что-то нервическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое*…» Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знает, и потому все существо ее напряжено, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то… Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет.

В этой-то несмелости, в этой практической пассивности, при богатстве внутренних сил и при томительной жажде деятельности — мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер Елены, — она представляет явление исключительное, и если бы на самом деле она являлась везде выразительницею своих воззрений и стремлений, — она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным, растением, неудачно пересаженным на нашу почву откуда-нибудь из другой земли. ‹…› Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастия, бедность и унижение ее ближних.

Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними требованиями, мог дать г. Тургенев своей героине? На это даже и отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче милостыни да в спасении заброшенных котят. За деятельность, требующую большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится приняться. Она видит во всем окружающем, что одно давит другое, и потому, именно вследствие своего гуманного,

сердечного развития, старается держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние; отец и мать ей как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится, почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же проживает Шубин, молодой художник. ‹…› Елена уничтожает его своими приговорами, но и не думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая, где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела окружающей ее среды и проявить чем-нибудь свое влияние. ‹…›

В этой-то неопределенности, в этом бездействии при беспрерывном томительном ожидании чего-то доживает Елена до двадцатого года своей жизни. По временам ей очень тяжело; она сознает, что силы ее пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «Хоть бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя. ‹…›

При таком-то настроении ее сердца, летом, на даче в Кунцеве, застает ее действие повести. В короткий промежуток времени являются пред нею три человека, из которых один привлекает к себе всю ее душу. Тут есть, впрочем, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже не лишний господин, которого мы тоже будем считать. Трое из этих господ — русские, четвертый — болгар, и в нем-то нашла свой идеал Елена. Посмотрим на всех этих господ.

Один из молодых людей, страстно по-своему влюбленный в Елену, — художник Павел Яковлич Шубин, хорошенький и грациозный юноша лет 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, беспечный и талантливый. Он доводится троюродным племянником Анне Васильевне, матери Елены, и потому очень близок с молодой девушкой и надеется заслужить ее серьезное расположение. Но она постоянно смотрит на него свысока и считает его неглупым, но балованным ребенком, с которым нельзя обращаться серьезно. Впрочем, Шубин говорит своему другу: «было время, я ей нравился», и действительно, у него много условий для того, чтобы нравиться; не

мудрено, что и Елена на минуту придала более значения его хорошим сторонам, нежели его недостаткам. Но скоро она увидела художественность этой натуры, увидела, что здесь все зависит от минуты, ничего нет постоянного и надежного, весь организм составлен из противоречий: лень заглушает способности, а даром потраченное время вызывает потом бесплодное раскаяние, подымает желчь, возбуждает презрение к самому себе, которое, в свою очередь, служит утешением в неудачах и заставляет гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, без тяжелых мук недоуменья, и потому решение ее относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. ‹…› И действительно, как только Елена составила о нем мнение, — он уже не занимает ее. Ей все равно — тут он или нет, помнит о ней или забыл, любит ее или ненавидит; у ней с ним ничего нет общего, хотя она не прочь искренно похвалить его, если он сделает что-нибудь достойное его таланта…

Другой начинает занимать ее мысли. Этот совершенно в ином роде; он неуклюж, старообраз, лицо его некрасиво и даже несколько смешно, но выражает привычку мыслить и доброту. Кроме того, по словам автора, какой-то «*отпечаток порядочности* замечался во всем его неуклюжем существе». Это Андрей Петрович Берсенев, близкий друг Шубина. Он философ, ученый, читает историю Гогенштауфенов и другие немецкие книжки, исполнен скромности и самоотвержения. ‹…›

‹…› Он, влюбленный в Елену, становится посредником между ею и Инсаровым, которого она полюбила, великодушно помогает им, ухаживает за Инсаровым во время его болезни, отказывается от своего счастья в пользу друга, хотя и не без стеснения сердца и даже не без ропота. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько потому, что *надо* делать добро. ‹…›

Итак, Берсенев — весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию. Он гораздо дельнее и надежнее Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то он пойдет охотно и прямо. Но сам вести он не может не только других, но даже и себя самого: инициативы нет у него в натуре, и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатию к нему за то, что он добрый и все о деле говорит. Она даже

совестится пред ним своего невежества, по тому случаю, что он все приносит ей книги, которых она читать не может. Но совершенно привязаться к нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не может: она еще прежде, чем увидела Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенев не то, чего ей нужно. И действительно, можно с достоверностью утверждать, что Берсенев струсил бы, если б Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убежал бы под разными, весьма благовидными предлогами.

Впрочем, на безлюдье, в котором жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсеневым и уже спрашивала себя: не он ли тот, кого так давно и так жадно ждала душа ее, кто должен был вывести ее из всех недоумений и указать ей путь деятельности? Но сам же Берсенев привел к ней Инсарова, и очарование исчезло…

В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенев, и Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не изменяет своему слову, не берет взаймы денег, не любит разговаривать о своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его слово не расходится с делом и т. п. Словом, в нем нет тех черт, за которые должен горько упрекать себя всякий человек, имеющий претензию считать себя порядочным. Но, кроме того, он — болгар, питающий в душе страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь, открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность с этой целью; подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсеневе, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни; он бы оставил в покое порабощенную родину, если б только мог найти удовлетворение себе в чем-нибудь другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. ‹…› Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого, при всей обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре, он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин и

умный Берсенев, хотя оба они тоже люди благородные и любящие. Елена делает о Берсеневе очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не пожалел своего глубокомыслия и остроумия): «Андрей Петрович, может быть, ученее его (Инсарова), может быть, даже умнее… Но я не знаю — *он перед ним такой маленький».*

Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их? Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою к этому нежному, поэтическому созданию. ‹…› Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чуется — и колебание девственной груди, и тихий вздох, и увлажненный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое — как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к родимым местам. И грустно и весело это ощущение: там светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек, который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам, к этому чистому, младенческому упоению жизнию, к этим идеальным, величавым замыслам и — содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь, пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души… Талант г. Тургенева всегда был силен этою стороною, его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества. Не чуждо этого значения и «Накануне» в изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели и без нас сумеют оценить всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова с начала до конца. ‹…›

Предоставляя самим читателям насладиться припоминанием всего развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова, или, лучше, к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за 60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется — ему и нечего было делать, живя в Москве; для настоящей деятельности нужно было ему ехать в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образца гражданской, то есть общественной доблести, как некоторые, может быть, подумают. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самым делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой… Но автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. ‹…› Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, — г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсаров любит и как его любят. Там, где любовь должна наконец уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть.

В чем же, стало быть, смысл появления *болгара* в этой истории? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже и нет таких натур, разве русские не способны любить страстно и решительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения, и в ней не нужно отыскивать никакого особенного смысла? «Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы взять и цыгана и китайца, пожалуй…»

Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести. Нам кажется, что болгар действительно здесь мог быть заменен, пожалуй, и другою национальностью — сербом, чехом, итальянцем, венгром, — только не поляком и не русским. Почему не поляком, об этом, разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским, — в

этом заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него как умеем.

Дело в том, что в «Накануне» главное лицо — Елена. В ней сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное. ‹…›

‹…› Елене именно нужно было, чтобы явился человек, ‹…›не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и неодолимо стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других. Таким-то наконец явился пред нею Инсаров, и в нем-то нашла она осуществление своего идеала, в нем-то увидела возможность ответа на вопрос: как ей делать добро.

Но почему же Инсаров не мог быть русским? Ведь он в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях. Он любит сильно и решительно; но неужели невозможно и это для русского человека?

Все это так, и все-таки сочувствие Елены, такой девушки, как мы ее понимаем, не могло обратиться на русского человека с тем правом, с той естественностью, как обратилось оно на этого болгара. Все обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая деятельного добра, но не знающая, как его делать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказом о его замыслах. «Освободить свою родину, — говорит она, — эти слова и выговорить страшно — так они велики!» И она чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним идея родины и ее свободы; и Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла, и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его одушевляет. ‹…› И мы очень хорошо понимаем ее положение; уверены, что и все русское общество хотя еще и не

увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но поймет возможность и естественность чувства Елены.

Мы говорим: общество не увлечется само, и основываем это предположение на том, что *этот* Инсаров все еще нам чужой человек. Сам г. Тургенев, столь хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его *нашим*. Мало того, что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека. В этом, если хотите смотреть даже на литературную сторону, главный художественный недостаток повести. Мы понимаем одну из важных причин его, не зависящих от автора, и потому не делаем упрека г. Тургеневу. Но тем не менее бледность очертаний Инсарова отражается на самом впечатлении, производимом повестью. Величие и красота идей Инсарова не выставляются пред нами с такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскликнули: «идем за тобою!» А между тем идея эта так свята, так возвышенна… Гораздо менее человечные, даже просто фальшивые идеи, горячо проведенные в художественных образах, производили лихорадочное действие на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаров их не вызовет. Правда, что и мудрено было ему выказаться вполне с своей идеей, живя в Москве и ничего не делая; ведь не в риторических же разглагольствиях упражняться! Но мы из повести мало узнаем его и как человека; его внутренний мир недоступен нам; для нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие испытывает перемены в своих отношениях, как смотрит на ход событий, на жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее страстно; но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда он его заметил и решился было удалиться, — все эти внутренние подробности и многие другие, которые так тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в личности Инсарова. Как живой образ, как лицо действительное, Инсаров от нас чрезвычайно далек. Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видела его в жизни, а не в повести; для нас же он близок и дорог только как представитель идеи, которая поражает и нас, как Елену, мгновенным светом и озаряет мрак нашего существования. Поэтому-то мы и понимаем всю естественность чувства Елены к

Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною верностью идее, не замечаем на первый раз, что он обозначается перед нами лишь в бледных и общих очертаниях.

И еще хотят, чтоб он был русским! «Нет, он не мог бы быть русским», — восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно, таких русских не бывает, не должно и не может быть, в настоящее время по крайней мере. Не знаем, как развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитие каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить. Иная развивает героические тенденции, другая — мирные наклонности; иная раздражает, другая убаюкивает. Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон, и всякий бессонный человек кажется не без основания беспокойным и совершенно лишним для общества. Сравните, в самом деле, обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь Инсарова, с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского человека.

Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава Богу, никем не порабощены, мы свободны, мы — великий народ, не раз решавший своим оружием судьбы царств и народов; *мы* владеем другими, а нами никто не владеет…

В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит Елене: «Если б вы знали, какой наш край благодатный. А между тем его топчут, его терзают; у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут…» Россия, напротив того, государство благоустроенное: в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность. Церквей ни у кого не отнимают, и веры не стесняют решительно ничем, а, напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе; в виде стада никого не гоняют.

«В Болгарии, — говорит Инсаров, — последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же; у всех одна цель». Такой монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие,

даже каждый кружок живут своею отдельною жизнию, имеют свои особые цели и стремления, свое установленное назначение. При существующем у нас благоустройстве общественном каждому остается только упрочивать собственное благосостояние, для чего вовсе не нужно соединяться с целой нацией в одной общей идее, как это происходит в Болгарии.

Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его мать и потом зарезал, а отец его был расстрелян за то, что, желая отмстить аге, поразил его кинжалом. Когда и кого из русских людей могли встретить в жизни подобные впечатления? Слыхано ли что-нибудь подобное в русской земле? Конечно, уголовные преступления везде возможны; но у нас, если бы какой-нибудь *ага* и похитил и убил или уморил потом чужую жену, так мужа и до отмщения бы не допустили, ибо у нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие преступление.

Словом, Инсаров с молоком матери всасывает ненависть к поработителям, недовольство настоящим порядком вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгим рядом силлогизмов до того, чтобы определить направление своей деятельности. Как скоро он не ленив и не трус, он уже знает, что ему делать и как вести себя: разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него *удобопонятная*, как говорит Шубин: «стоит только турок вытурить — велика штука!» И Инсаров знает притом, что он прав в своей деятельности не только перед собственною совестью, но и перед людским судом: его замыслы найдут сочувствие во всяком порядочном человеке. Представьте же теперь что-нибудь подобное в русском обществе: неудобопредставимо!.. В русском переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник, представитель «противообщественного элемента», о котором русская публика знает очень хорошо из красноречивых исследований г. Соловьева, сообщенных «Русским вестником». Кто же, спрашивается, может полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная девушка не побежит от него что есть мочи с криком: «quelle horreur!!»[89].

Понятно ли теперь, почему не может быть русский на месте Инсарова? Натуры, подобные ему, родятся, конечно, и в России в немалом количестве, но они не могут так беспрепятственно развиться и так беззастенчиво проявлять себя, как Инсаров. Русский современный

Инсаров всегда останется робким, двойственным, будет таиться, выражаться с разными прикрытиями и экивоками… а это-то и уменьшает доверие к нему. Выйдет, пожалуй, даже иной раз, что он лжет и противоречит себе; а известно, что люди лгут обыкновенно либо из выгод, либо из трусости. Какое же сочувствие можно питать к корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дела и ищет мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бывают, правда, и у нас небольшие герои, несколько похожие на Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в нашей среде являются смешными Дон-Кихотами. Отличительная черта Дон-Кихота — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий, — удивительно ярко выступает в них. Они, например, вдруг вообразят, что надо спасать крестьян от произвола помещиков; и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян соб ственно против этого произвола — значит, не избавивши их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону. Или, например, зададут себе работу: спасать невинных от судебной неправды, — как будто бы у нас судьи по своему произволу так и делают, что хотят. Дела у нас все, как известно, вершатся по закону, а чтобы растолковать закон так или иначе — на это не геройство нужно, а привычка к судейским изворотам. Вот Дон-Кихоты наши и возятся попусту… А то выдумают вдруг — взятки искоренять, — и уж какая тут мука пойдет бедным чиновникам, берущим гривенник за какую-нибудь справку! Со свету сгонят их наши герои, принимающие на себя защиту страждущих. Оно, конечно, благородно и высоко: да можно ли сочувствовать этим неразумным людям? И ведь мы еще говорим не о тех холодных служителях долга, которые поступают таким образом просто по обязанности службы; мы имеем в виду русских людей, действительно искренно сочувствующих угнетенным и готовых даже на борьбу для их защиты. И эти-то выходят бесполезны и смешны, потому что не понимают общего значения той среды, в которой действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду

перевернуть — так надо будет повернуть и себя; а подите-ка сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! — между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества — турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освобождать Болгарию от турок. Трудно даже предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы он отрекся уж от всего, что его связывало с турками, — и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое обыкновенно получает сын турецкого аги. Не много легче дается геройство и русскому человеку. Вот отчего у нас симпатичные, энергические натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до настоящего, серьезного героизма, то есть до отречения от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественной средою. Робость их пред громадою противных сил отражается даже на теоретическом их развитии: они боятся или не умеют доходить до корня и, задумывая, например, карать зло, только и бросаются на какое-нибудь мелкое проявление его и утомляются страшно, прежде чем успеют даже подумать об его источнике. Не хочется им поднять руки на то дерево, на котором и они сами выросли; вот они и стараются уверить себя и других, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоит, и все будет благополучно. Выгнать из службы несколько взяточников, наложить опеку на несколько помещичьих имений, обличить целовальника, в одном кабаке продавшего дурного качества водку, — вот и воцарится правосудие, крестьяне во всей России будут благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью для народа. Так искренно думают многие, и действительно тратят все свои силы на подобные подвиги, и за то не шутя считают себя героями.

При таких понятиях русские герои только и могут, разумеется, ограничиваться мизерными частностями, не думая об общем, тогда как Инсаров, напротив, частное всегда подчиняет общему, в уверенности, что «и то не уйдет». ‹…› Вот в этой любви к общему делу, в этом предчувствии его, которое дает силу спокойно выдерживать отдельные обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова пред всеми русскими героями, у которых общего дела-то и в помине нет.

Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них большая часть не выдерживает себя до конца.

Гораздо многочисленнее в нашем образованном обществе другой разряд людей — занимающихся размышлениями. Из этих тоже есть много таких, которые хоть и размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы хотим указать только на тех, действительно с светлою головою, людей, которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконец. Но — в них нет уже силы для практической деятельности; они столько ломали себя, что натура их как-то надселась и обессилела. Они с сочувствием смотрят на приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может удовлетвориться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя.

Никто из нас не берет готовыми человечных понятий, во имя которых нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности, той цельности воззрений и действий, которые так естественны, хоть бы, например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает. ‹…›

Таким образом, кто сохранил у нас силу на геройство, так тому незачем быть героем, цели настоящей он не видит, взяться за дело не умеет и потому только донкихотствует. А кто понимает, что нужно и как нужно, так тот уже всего себя на это понимание и положил, и в практической деятельности шагу ступить не умеет, и сторонится от всякого вмешательства, как Елена в домашней среде. Да еще Елена все-

таки смелее и свободнее, потому что на нее подействовала только общая атмосфера русской жизни, но, как мы сказали уже, не наложила своей печати рутина школьного образования и дисциплины.

Выходит, что наши лучшие люди, каких мы видали до сих пор в современном обществе, только что способны понять жажду деятельного добра, сжигающую Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак не сумеют удовлетворить этой жажды. А это еще передовые, это еще называются у нас «деятели общественные». А то большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берсенев в «Накануне»: славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним; если б им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это поведет? На это способны только герои вроде господ Паншиных и Курнатовских.

Кстати — здесь можем мы сказать несколько слов о Курнатовском, тоже одном из лучших представителей русского образованного общества. Это новый вид Паншина, только без светских и художественных талантов и более деловой. Он очень честен и даже великодушен; в доказательство его великодушия Стахов, прочащий его в женихи Елене, приводит факт, что он, как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец. Вообще в нем много хорошего: это признает даже Елена, изображающая его в письме к Инсарову. ‹…›

Елена сразу поняла Курнатовского и отозвалась о нем не совсем благосклонно. А между тем вникните в этот характер и припомните своих знакомых деловых людей, с честью подвизающихся для пользы общей; наверное, многие из них окажутся хуже Курнатовского, а найдутся ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не делает нас ни умными, ни честными, ни деятельными. И ум, и честность, и силы к деятельности мы должны приобретать из иностранных книжек, которые притом нужно еще согласить и соразмерить со сводом законов. Не мудрено, что за этой

трудной работой холодеет сердце, замирает все живое в человеке и он превращается в автомата, мерно и неизменно совершающего то, что ему следует. И все-таки опять повторишь: это еще лучшие. Там, за ними, начинается другой слой: с одной стороны совсем сонные Обломовы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия, которым пленяли барышень в былое время, с другой — деятельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих узеньких и гаденьких интересцев. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы, и все это злое племя предъявляет свои права на жизнь и волю русского люда. Откуда тут взяться героизму, а если и народится герой, так где набраться ему света и разума для того, чтобы не пропасть его силе даром, а послужить добру да правде? И если наберется наконец, то где уж геройствовать надломленному и надорванному, где уж грызть орехи беззубой белке? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себе какую-нибудь специальность, да и зарыться в ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти к людям, живущим и знающим, зачем они живут.

Так и поступили в «Накануне» Шубин и Берсенев. Шубин расходился было, узнавши о свадьбе Елены с Инсаровым, и начал: «Инсаров… Инсаров… К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя; да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, разве дрянь? Разве Бог меня так-таки всем и обидел?» и пр… И тотчас же свернул, бедняк, на художество: «Может, говорит, и я со временем прославлюсь своими произведениями…» И точно — он стал работать над своим талантом, и из него замечательный ваятель выходит… И Берсенев, добрый, самоотверженный Берсенев, так искренно и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой, — и Берсенев, это золотое сердце, как выразился Инсаров, — не может удержаться от ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть их! — говорит он. — Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей

глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые попреки — неизвестно кому и за что!.. Кто ж виноват во всем, что случилось? Не сам ли Берсенев? Нет, русская жизнь виновата. «Кабы были у нас путные люди, — по выражению Шубина, — не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду». А людей путных или непутных делает жизнь, общий строй ее в известное время и в известном месте. Строй нашей жизни оказался таков, что Берсеневу только и осталось одно средство спасения: «Иссушать ум наукою бесплодной». Он так и сделал, и ученые очень хвалили, по словам автора, его сочинения. ‹…› И еще благо, что хоть в этом мог найти спасение…

Вот Елене — так не оставалось никакого ресурса в России после того, как она встретилась с Инсаровым и поняла иную жизнь… Оттого-то она не могла ни остаться в России, ни возвратиться в нее одна после смерти мужа. Автор очень хорошо умел понять это и предпочел лучше оставить ее судьбу в неизвестности, нежели возвратить ее под родительский кров и заставить доживать свои дни в родной Москве, в тоске одиночества и бездействия. Призыв родной матери, дошедший до нее почти в ту самую минуту, как она лишалась мужа, не смягчил ее отвращения от этой пошлой, бесцветной, бездейственной жизни. «Вернуться в Россию! Зачем? Что делать в России?» — написала она матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания.

И как хорошо, что она приняла эту решимость! Что, в самом деле, ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвратиться опять к несчастным котятам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработанные и Бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в художестве Шубина, трактовать о Шеллинге с Берсеневым, читать матери «Московские ведомости» да видеть, как на общественной арене подвизаются *правила* в виде разных Курнатовских, — и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни… и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать… Нет, уж если раз она попробовала другой жизни, дохнула другим воздухом, то легче ей броситься в какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь… ‹…›



Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье (за неполноту которой просим извинения у читателей), и сделать общее заключение.

Инсаров, как человек, сознательно и всецело проникнутый великой идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль, не мог развиться и проявить себя в современном русском обществе. Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя там — все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно бежать

от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранной нами?

Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы, наши умники палец об палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что *теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле.

Дело в том, что как бы ни была плоха наша жизнь, но в ней уже оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того, что такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены художническим сознанием, внесены в литературу, возведены в тип. Елена — лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем, сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера — любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро, — все это, наконец, чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как прежде, ни блестящим, но бесплодным умом и талантом, ни добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже добрым, великодушным, но пассивно развитым сердцем. Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров, — но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный…

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и в восторгах, какие доныне испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди,

способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою: условия для его развития и особенно для первого проявления его деятельности — крайне неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий вас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может.

Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека. Вечная пошлость, мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чем-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недействительно. Наконец теперь появляются уже такие понятия и требования, какие мы видим в Елене; требования эти принимаются обществом с сочувствием; мало того — они стремятся к деятельному осуществлению. Это значит, что уж старая общественная рутина отживает свой век; еще несколько

колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели!

Выше мы заметили, что решимость и энергию сильной натуры убивает у нас еще в самом начале то идиллическое восхищение всем на свете, то расположение к ленивому самодовольству и сонному покою, которое встречает каждый из нас, еще ребенком, во всем окружающем и к которому его тоже стараются приучить всевозможными советами и наставлениями. Но в последнее время и это условие сильно изменилось. Везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений, и никто уже не убаюкивает своих детей песнею о том, какое непостижимое совершенство представляет современный порядок дел в России. Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный образ русского Инсарова. И недолго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..

---

notes

Сноски

1

Французский скульптор, известный карикатурными бюстами и статуэтками известных деятелей своего времени.

2

«Да здравствует Марья Петровна!» — слова из популярной студенческой песни на слова Н. М. Языкова «Разгульна, светла и любовна пусть слышится песня моя».

3

Вы меня понимаете (от *фр*. vous me comprenez).

4

По немецкой легенде, рог царя волшебников Оберона имел чудодейственную силу.

5

Русский скульптор Петр Андреевич Ставассер (1816–1850), достигший славы в молодом возрасте.

6

Фрондёр (*фр.*) — тот, кто выражает недовольство чем-нибудь из духа противоречия.

7

Мой дурачок (*нем.*).

8

«Последнюю думу» Вебера? (*фр*.).

9

Ф. Л. Г. фон Раумер (1781–1873) — немецкий историк. Его труд посвящен немецкому рыцарскому царствующему роду XI–XIII веков.

10

По моему простому здравому смыслу (*фр*.).

11

При слугах… (*фр.*)

12

Романс на слова стихотворения А. А. Фета «Мелодия». Музыка А. А. Дерфельдта.

13

Бессердечные существа (*фр.*).

14

Repondez s'il vous plait — ответьте, пожалуйста (*фр.*).

15

Прощай! (*итал.*).

16

«Самосон» — так назывался диван в с. Спасском, на котором любил отдыхать И. С. Тургенев.

17

Последователь учения немецкого мистика Адама Вейсгаупта (1748–1830), основавшего в 1776 году тайное просветительское общество иллюминатов.

18

Теософское учение Эммануила Сведенборга (1688–1772), шведского философа-мистика, уверявшего, что он общается с ангелами и святыми.

19

Джордж Вашингтон (1732–1799) — первый президент Соединенных Штатов Америки (1789).

20

Юрий Иванович Венелин (настоящая фамилия — Гуца; 1802–1839) — выдающийся болгарский историк, лингвист и фольклорист; с 1825 года жил в России.

21

Болгарский князь с 802 года, выдающийся полководец, сражавшийся с византийскими войсками.

22

Кто? (*нем*.).

23

Макс и Агата — герои оперы Вебера «Волшебный стрелок» (1820).

24

В 480 г. до н. э. Фемистокл, афинский полководец, уничтожил персидский флот у острова Саламина.

25

Увеселительной прогулки (*фр.*).

26

Какая нелепость! (*фр.*)

27

Вашу руку, сударыня (*нем.*).

28

«Озеро» (*фр.*).

29

«Le lac» Нидермейера — романс французского композитора Луи Нидермейера (1802–1861) «Озеро» на текст стихотворения Альфонса Ламартина (1790–1869).

30

Ну же! (*фр.*).

31

«О озеро! год едва закончил свой бег…» (*фр.*).

32

Пить, кутить.

33

Ох! вот чудодей! (*нем*.).

34

Вы слышите это, господин провизор? (*нем*.).

35

Удовлетворения! Поцелуя хочу я! (*нем*.).

36

Господи Иисусе! (*нем*.).

37

Боже мой! (*нем.*).

38

«Трепещи, Византия!»(итал.) — слова из оперы Доницетти (1797–1848) «Велизарий» (1836).

39

Как канальи (*фр.*).

40

Выйдите, пожалуйста (*фр*.).

41

А вы, сударыня, останьтесь, прошу вас (*фр*.).

42

Возможно (*фр.*).

43

Отцов из комедии *(фр.)*.

44

Истинный стоик *(фр.)*.

45

С распростертыми объятьями *(фр.)*.

46

Комильфо (фр.) — приличный, соответствующий правилам светского приличия. Тот, кто характеризуется таким качеством.

47

Это — мужчина! (*нем.*)

48

Русские войска в течение июня 1853 года заняли дунайские кня жества Молдавию и Валахию. Эта акция русского правительства явилась главной причиной возникновения в том же году Крымской войны (1853–1856).

49

Какая нелепость! (*фр.*)

50

Или — Цезарь, или — ничто. Девиз внебрачного сына Папы Александра VI — Чезаре Борджиа (1475–1507), известного своим политическим авантюризмом

51

Джордж Грот (1794–1871) — английский историк, автор 12-томной «Истории Греции».

52

Роман Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

53

Эти женщины — пусть их мне покажут! (*фр.*).

54

Пифагор — древнегреческий философ (вторая половина VI в. до н. э.).

55

Вы бредите, мой дорогой (*фр.*).

56

При слугах (*фр.*).

57

Лакей! Какое унижение! (*фр*.).

58

27 сентября 1853 го да Турция предъявила русскому правительству ультиматум, требуя вывода войск из Молдавии и Валахии. В связи с отказом Турция объявила России войну 3 (15) октября 1853 года. Россия объявила Турции войну 20 октября (1 ноября) того же года.

59

18 (30) ноября 1853 года вице-адмирал П. С. Нахимов уничтожил в Синопской бухте весь турецкий черноморский флот.

60

Вы меня убиваете (*фр.*).

61

Что я вас убиваю (*фр.*).

62

Презренные лакеи (*фр*.).

63

Марк Юний Брут (85–42 гг. до н. э.) — политический деятель Древнего Рима. С 48 года сторонник Юлия Цезаря, позднее, в 44 году, выступил против него и был участником его убийства.

64

Предпочесть этого Инсарова — и кому? (*нем.*)

65

«С Богом, в дальнюю дорогу»… — первый стих «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» («Песни западных славян» А. С. Пушкина).

66

Война была объявлена 19 (31) марта 1854 года.

67

Берегись! (*нем*.)

68

Большому каналу (*итал*.).

69

Каналетти — Антонио Каналетто (1697–1768) — художник, изображавший главным образом Венецию.

70

Гварди — Франческо Гварди (1712–1793) — венецианский живописец.

71

Набережную Скьявони (*итал.*).

72

Изящных искусств (*итал.*).

73

Морских плодов (съедобных ракушек) (*итал.*).

74

Опера Джузеппе Верди (1813–1901), итальянского композитора.

75

Палладий — Андреа Палладио (1508–1580) — итальянский архитектор.

76

«Триестинского наблюдателя» (*итал*.).

77

Марино Фалиери (1273–1355) — венецианский дож, был казнен в 1355 году в связи с раскрытием его заговора против правительства Венеции. Во Дворце дожей место, отведенное для его портрета, оставлено пустым и обтянуто черным сукном.

78

«Обезглавлен за преступления» (*лат*.).

79

Цитируется поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818).

80

Я стоял в Венеции на Мосту вздохов (*англ*.).

81

Пальмерстон — лорд Генри Пальмерстон (1784–1865) — министр внутренних дел Великобритании (1852), один из главных инициаторов вступления Великобритании в войну с Россией.

82

«Возмездие» Виктора Гюго (*фр*.).

83

Будущее — исполнитель провидения (*фр.*).

84

Книга Пьера Прудона (1809–1865) «Общественная революция» (1852).

85

«Ллойд» — английская пароходная компания, которая вела учет движения морских судов во всем мире.

86

Чистокровному (*фр.*).

87

Текст статьи печатается по изданию: Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: В 3 т. — М.: Худож. лит., 1986–1987. — Т. 3. (Статья печатается в сокращении.)

88

Бей в барабан и не бойся. *Гейне* (*нем*.).

89

Какой ужас!! (*фр.*).